

СЕМЁН ДАНИЛЮК

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ



Семён Данилюк

Обитель милосердия (сборник)

«Accent Graphics communications»

2015

Данилюк С.

Обитель милосердия (сборник) / С. Данилюк — «Accent Graphics communications», 2015

ISBN 978-1-77192-227-2

Эту книгу я посвящаю людям, благодаря которым не стал брачным аферистом, тунеядцем, маньяком-насильником, вором в законе, не страдаю хроническим алкоголизмом и не скатился на путь измены Родине. Все эти врождённые пороки мой отец, человек редкой проницательности и удивительного педагогического чутья, разглядел во мне ещё в дошкольном возрасте, когда я забил свой первый в жизни гвоздь. Забил я его в новенький радиоприёмник. Справедливо полагая, что скверну необходимо выжигать на корню, отец энергично взялся за моё воспитание, за неимением каленого железа используя добротный солдатский ремень. Если я до сих пор не отбываю наказание в колонии для особо опасных преступников, не состою на учётах как алкоголик и наркоман, не завербован иностранной разведкой и не скрываюсь от уплаты алиментов, то всем этим, как видно из изложенного, я обязан отцу. Поэтому публикуемый сборник я посвящаю как отцу, так и маме, которая, не обладая педагогическими талантами мужа, так и не поняла, какой мрачный клубок пороков гнезвился в душе её сына, и растила меня как обыкновенного ребёнка, каковым я вследствие этого и оказался.

ISBN 978-1-77192-227-2

© Данилюк С., 2015
© Accent Graphics
communications, 2015

Содержание

Посвящение	7
Медведик (Из теткиных баек)	9
Золотой мальчик	20
Рыжий сашка	26
Обиды эдуарда никитина	31
Засада	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Семен Данилюк

Обитель милосердия (сборник)

© 2015 Семен Данилюк

* * *

Посвящение

Эту книгу я посвящаю людям, благодаря которым не стал брачным аферистом, тунеядцем, маньяком-насильником, вором в законе, не страдаю хроническим алкоголизмом и не скатился на путь измены Родине.

Все эти врождённые пороки мой отец, человек редкой проницательности и удивительного педагогического чутья, разглядел во мне ещё в дошкольном возрасте, когда я забил свой первый в жизни гвоздь. Забил я его в новенький радиоприёмник.

Справедливо полагая, что скверну необходимо выжигать на корню, отец энергично взялся за моё воспитание, за неимением каленого железа используя добротный солдатский ремень.

Впервые я был бит, как только принес первую двойку. Закончив порку, отец потребовал, чтоб я сделал правильные выводы. Я их сделал и завёл второй дневник – для хороших отметок. После этого бывал бит неоднократно – дабы пресечь болезнь, прежде чем она укоренится в неокрепшем организме.

Неблагодарный, я упорствовал в ереси. В ожидании звонка от классного руководителя перерезал телефонный шнур или ломал розетку. Телефон отключили, а я был бит, хотя вины не признал. Дважды убегал из дома, причём во второй раз был перехвачен при попытке сесть в поезд до Уссурийска.

– Не удивлюсь, если он попытается перейти государственную границу, – мрачно констатировал отец. – Меня всегда настораживала его пятерка по французскому языку.

Отец приумножил свои педагогические усилия и даже лично взялся обучить меня делению столбиком. Увы! Минут через сорок, обессиленный, он отбросил в сторону сломанную об меня линейку.

– Я надеялся, что он дозреет до степени умеренной дебильности, – грустно признался отец плачущей матери. – Но, видно, не судьба. Это что-то идеально круглое. Очевидно, наследственность по материнской линии.

То, чего опасался проницательный отец, свершилось, – злое начало восторжествовало. В седьмом классе отца вызвали к директору школы – на стенд «Их разыскивает милиция» я втиснул фото председателя совета дружины.

– Мы породили ехидну, – вернувшись, порадовал он мать. – Очевидно, в твоём роду кто-то сидел в тюрьме. Если б ты не вмешивалась в процесс воспитания, быть может, я бы вытянул его до уровня слесаря-сантехника, а теперь слишком запущено. Я не могу бороться с твоими генами. Их больше. Так что довершай его разложение сама – осталось совсем немного.

Мать со свойственной ей терпеливостью принялась «довершать», в результате чего по окончании школы я поступил в университет. Увидев студенческий билет, отец удовлетворённо отметил, что его система наконец-то стала давать плоды.

Однако, когда после выпускного университетского вечера я явился домой слегка пошатываясь, отец подозрительно посмотрел на мать:

– Почему ты не призналась, что в твоём роду были хронические алкоголики? Это ж готовый кандидат в наркологический диспансер. Хотя теперь ты поняла, какой вред мы причинили человечеству?

По счастью, мама ничего этого не поняла, и спустя некоторое время я стал кандидатом наук.

– Воля и труд человека дивные дива творят, – изумляясь самому себе, продекламировал отец.

И если я до сих пор не отбываю наказание в колонии для особо опасных преступников, не состою на учёте как алкоголик и наркоман, не завербован иностранной разведкой и не скрываюсь от уплаты алиментов, то всем этим, как видно из изложенного, я обязан отцу. Поэтому публикуемый сборник я посвящаю как отцу, так и маме, которая, не обладая педагогическими талантами мужа, так и не поняла, какой мрачный клубок пороков гнезвился в душе её сына, и растила меня как обыкновенного ребёнка, каковым я вследствие этого и оказался.

Медведик (Из теткиных баек)

Август шестьдесят восьмого года. Киев накрыло летней истомой. Недвижный каленый воздух выдавливает всё живое с улиц. Кажется, город впал в дрему. Разве что верхушкам каштанов перед распахнутым теткиным окном на Владимирской досталось немного ветра. Он мягко теребит листья, отчего по навощённому паркету гуляют теплые блики.

Вот уж вторую неделю после поступления на филфак я гощу у тети Оли. И вторую неделю гонористый семнадцатилетний пацан по всякому поводу схлестывается с упёртой шестидесятичетырёхлетней старухой. Впрочем, в семнадцать лет стариком кажется всякий, дотянувший до сорока. На самом деле, тетка ни тогда, ни после в старуху так и не обратилась. До самой смерти сохранила она пронзительные, незамутненные возрастом голубующие глазищи, заставлявшие мужчин обмирать. Но и огневой характерец тоже не угас в ней до последнего часа. В тот свой приезд в Киев я от него слегка отхлебнул.

В молодости тетка была отчаянной авантюристкой. В пятнадцать вступила в отряды ЧОНа. В неполные восемнадцать с первым мужем сражалась сначала у Котовского, потом против Врангеля. По сведениям матери, среди военно-административной верхушки тридцатых тетка чувствовала себя своей. Во всяком случае, из пяти её мужей ни одного ниже комкора не было. Да и в литературном мире Бабель, Эренбург, Фадеев – для меня фамилии из хрестоматии, для нее – люди, с которыми сводила судьба. А со знаменитым Михаилом Кольцовым она и вовсе близко прятельствовала.

Должно быть, отсюда привычка к безапелляционности. Возражений не терпела. Я же в семнадцать собирался покорить этот мир и во всяком споре стремился настоять на своём. Мозги абитуриента густо нафаршированы свежими знаниями. И я то и дело уличаю тетку в неточностях, а бывает, и в передергиваниях. Но всякий раз, когда я загоняю ее в угол, тетка беззастенчиво использует убойный аргумент. «Если на то пошло, Маяковский сам признавал это», – заявляет она. – «Маяковский этого не говорил». – «Тебе не говорил, мне говорил», – победно усмехается тетка. Я надуваюсь – проверить сказанное невозможно. Накануне мы в очередной раз повздорили. Я принялся декламировать Есенина, которым зачитывался. И вдруг тетка отчеканила:

– Вот уж кого не уважала, так этого «кулачка»!

Оказывается, в двадцатых вместе с мужем тетка с месяц жила в одной из московских гостиниц. В соседнем номере останавливался Есенин. Изредка общались. Однажды, со слов тетки, Есенин забежал в их номер с новыми яловыми сапогами. «Спрячьте на время. Отец из деревни нагрянул. Увидит – заберет». Отцу пожалел! Какой там поэт? Сельский жлоб. Обычно в таких случаях я терялся. Но не в этот раз. Спустить, когда любимого поэта походя обзывают «кулачком», я не мог.

– А слышала, «суди не выше сапога?» – схамил я в запальчивости. – Думаешь, если по соседству спала, так и судить право получила? А судить гения надо по творчеству его. Нет, прав Есенин – большое видится на расстоянии!

Тетка подалась вперед, тяжело задышала. Голубизна в глазах погрозовела.

По счастью, как раз прибежала Верочка. Тридцатипятилетняя Верочка, приемная дочь тети Оли, существо удивительное.

Легкая, уступчивая, с веселой ямочкой на подбородке, она безропотно принимает на себя приступы теткиной раздражительности. Лишь за два года до моего появления наконец вышла замуж – всех прежних кандидатов тетка отшивала. Не одобрила она и нынешнего. Но тут уж Верочка настояла на своем. Теперь живет у мужа. Но каждый день непременно забегает навестить «мамочку», принести продуктов. Забегает одна. Мужа ее непримиримая тетя Оля видеть не желает.

Верочка разрядила накалившуюся атмосферу. Тем не менее спать мы с теткой легли, не пожелав друг другу спокойной ночи. Наутро оба ищем пути к примирению.

Тётя Оля, сидя за письменным столом, перебирает старые бумаги. Обтянутый бильярдным сукном стол как раз возле окна. И всё на нём: карандаши в пластмассовом стаканчике, стопка двухкопеечных тетрадей, зачитанные томики Ленина вперемежку со стихами, – всё в таком привычном порядке, что, когда тётка возлагает на стол свои руки, понимаешь: это именно те единственные в мире руки, которых не хватало на этом столе для полной гармонии. Гладкие, наманикюренные. Разве что крохотные пигментные пятнышки выдают почтенный возраст. Да и вся эта солнечная прибранная комнатка, с салфеточками на этажерках, со взбитыми подушками на никелированной кровати, с фикусом у платяного шкафа, настолько полна тёткой, что всякий другой кажется здесь лишним.

Будто случайно, тётка выуживает из объемистого пакета ссохшуюся, пожелтевшую фотографию. Протягивает мне. На фото трепетная белокурая девушка в балетной пачке, поставив ножку на табурет, зашнуровывает вокруг лодыжки ремешок.

– Хороша была? – требовательно уточняет тетка.

Я показываю большой палец. Еще бы не хороша. Пытаюсь понять, где это снималось: в школе или уже в институте?

– Наверное, на выпускном вечере?

– На вечере, – подтвердила тетка. В лице ее проступило торжество. – На кремлевском любительском концерте, перед Первомаям. За два месяца до ареста.

– Как за два месяца?! – Пораженный, я вновь впиваюсь в фотографию.

Тетку арестовали в тридцать восьмом. Родилась она, по непроверенным данным, в третьем году. Значит, на фотографии ей должно быть не меньше тридцати четырех. К тому времени переменяла трех мужей. Сын уже заканчивал школу. Но поверить в это, видя изящную миниатюрную фигурку, лукавый, из-под челки взгляд, было решительно невозможно.

Зато в другое, что много раз слышал от матери, поверил враз и безоговорочно, – всю жизнь мужчины влюблялись в тетку без памяти и по капризу ее совершали немыслимые сумасбродства.

– Ох, и кру тила она ими! Глазиком скосит, на ножке кру тнется. И – готов! – произнося это, мать завистливо зажмуривалась.

Впрочем, сама мама сведения о похождениях тети Оли черпала из рассказов родственников. Разница меж сводными сестрами составляла двадцать семь лет. Жили в разных городах. Общаться начали только после теткиного освобождения.

Но и прочие родственники, как я убедился, знали немногим больше. Жизнь тётки Оли была окутана легендами. И легенды эти тетка создавала сама. Она никогда при мне не рассказывала о своей жизни связно. Лишь изредка бросала вскользь что-нибудь вроде: «Берия, признаюсь, поразил. Редкостный, конечно, стервец. Но, в чем не откажешь, умел обольщать». И тут же, будто сказанное не заслуживало внимания, переводила разговор на другое. Искоса, впрочем, упиваясь произведенным впечатлением. Как хочешь, так и понимай: то ли её обольщал, то ли кто-то из подруг поделился.

Но в этот раз тётю Олю что-то крепко зацепило. Она впала в задумчивость, заёрзала, задвигала губами. Вдруг вытряхнула на стол содержимое пакета и с обеспокоенным видом принялась разгребать его. Нашла то, что искала.

– Значит, считаешь, хороша была?

– Что значит была? Да ты из редчайшей категории женщин – до восьмидесяти доживешь, и всё хороша будешь! – подольстился я.

– Да? А как тебе эта бабёнка нравится? – Тетка протянула еще одну фотографию, совсем скукоженную.

Что тут могло понравиться? Сгорбившаяся старуха, в телогрейке. Кисти рук зябко закутаны в засаленные рукава. Мохнатый платок, по-бабьи подвязанный под самый лоб.

Я непонимающе вглядываюсь в унылое, отёчное лицо, – зачем мне его показывают? Посмотрел на тетку, та выжидательно улыбалась. Начиная догадываться, всмотрелся. И лишь тогда разглядел тетнины глаза. Только очень печальные и будто наледью покрытые. В паутине морщин.

– Это через восемь лет после освобождения. Стало быть, на всё про всё мне здесь сорок два годочка. А ты говоришь... – Тетка положила два фото рядышком. Подмигнула. – Что губки подраспустил, племянш? Жалко стало? Еще спасибо, что жива осталась.

В комнате установилось молчание. Тётка, кажется, ждала наводящего вопроса. Я же затаился, боясь спугнуть редкое в ней исповедальное состояние.

– Шалая у меня все-таки судьба выдалась, – усмехнулась тётя Оля. – Будто кто на куски нарубил: вначале жизни – филейчику, потом – грудинки, – тетка отпихивает бальное фото, отчего-то с неприязнью, – а оставшиеся кости да ливер на студень ушли. В Карлаге этого студня со стужей вдосталь хлебнуть довелось.

Следом за бальным фото на край стола отлетает и «старуха в телогрейке».

– А теперь, похоже, хвосты подъедаю. И уж сама не знаю, жила я той жизнью, какую вспоминаю, или почудилось. Ведь сколько люда вокруг меня вертелось. Сотнями, тысячами исчисляла. А какие глыбы меж ними попадались. Какие страсти кипели, споры до драки о смысле бытия. И вдруг – сгинули, как не бывало. Никого из прежних. Не то чтоб рядом, но хотя бы на виду. Ни-ко-го! – выдохнула она тоскливо. – И следов никаких: писем, метрик, фотографий. Кроме этих двух, по случайности сохранившихся. Была Атлантида и – затопило.

Тетка откинула головку на спинку стула, зажмурилась под солнцем, так что пушистые ресницы принялись будто сами собой подрагивать. Всё-таки истинная женщина остается ею до конца. Видно ведь, что разволновалась непритворно. А всё-таки не забыла принять позу повыигрышней. Я в волнении ждал.

– Арестовали меня через два месяца после мужа, – произнесла наконец тётя Оля, не размежая век. – Он тогда был в Харькове секретарем... Впрочем, неважна тебе должность. Главное – был он настоящим коммунистом. Не люблю высоких фраз, но если уж говорю, что настоящим, значит, того стоил. За то и взяли. Тогда каждый настоящий большевик был потенциальным врагом народа. Проходил по одному делу с Варейкисом. Вместе расстреляли. Это я уж после узнала. А тогда, как мужа забрали, бросилась спасать. Бабенка-то в общем бойцовая была. Кинулась к друзьям мужа, да и своим – общие они у нас были, – отогреться. А от них вдруг таким морозцем... Бр-р! Вот тут-то бабоньку и заколотило. До этого носилась по инстанциям, словно у Котовского, – всё искала, где тот вражина затаившийся, чью башку поскорей снести надо, чтоб честных коммунистов не порочил. А тут чую – нет какого-то одного. Гниль по всей датской державе пошла. Я-то еще в гражданскую привыкла: друг – это который прикроет. А здесь – большевик, отчаянный парень, а говорит со мной о муже моем, дружке своем закадычном, шепотком, словно о заразной девке. Страшно мне стало, тем паче что бояться-то, в общем, не привыкла. И вот возвращаюсь как-то домой, а сын Алька (шестнадцать, школу заканчивал) сообщает: «Похоже, тебя разоблачили. – И протягивает повестку из милиции. – Я всегда подозревал, что от алиментов укрываешься». Любил, стервец, над матерью подшутить.

О дурном не подумала. Пришла, протянула повестку: «Здрасте, мол. Чего желаете?» «Здрасте, – отвечают. – Только вам не к нам, а к смежникам. Мы просто послали от себя, чтоб без лишних волнений. Так что потрудитесь улицу перейти».

Вот тут и дошло – пришел мой черед. Вылетела я от них и – бегом домой. Меж машин, по лужам, по грязюке. Сын рисовал что-то. В Строгановское готовился поступать. Схватила

его за плечи, развернула. «Ты, – шепчу, – сынуха, если со мной что случится и обо мне дурно говорить станут, не верь. И про отца не верь. Чисты мы перед тобой и перед партией, понимаешь?» Глаза у него мои были, огромные, голубюющие. Как слезы в них поплыли, будто дамбу прорвало и озеро растеклось. Приласкала, как умела.

И – пошла себе, солнцем па лима. Нашла кабинет. Следователь молодой, но уже такой – осанистый. Весь из себя в значении. Посадил на стул, воды налил. Сразу видно, жесты заученные. Папиросочку, правда, не предложил. Сижую, жду, когда он про мужа заговорит. Голову опустила, чтоб страха не выказать. Во рту жжет, в висках колотит. Руки, чувствую, дрожат, а унять не могу. Долго так сидели. Вдруг слышу тяжелое мужское сопение, глаза поднимаю, а у него даже кончик языка вылез, только что слюна не течет. Засмотрелся, стервец! Сразу очухалась. До чего ж запугали бабёнку, что салажонка-сопляка чуть не за Каменного гостя приняла. Волнения как не бывало. И во рту сделалось свежо, и вены на висках исчезли. Смотрю на него с прищуром, но так, чтоб не обидеть (видишь, тетка-то у тебя хоть из гусаров, но дипломатию превзошла).

– Может, начнем? – предлагаю.

Тут и он опаматовал.

– Что можете сказать о таких-то? – и протягивает коротенький список.

– А что могу сказать? Чудные ребята, большевики.

А сама жду, когда он про мужа заговорит.

– Да вы не спешите, подумайте. Вызвали-то вас сюда неслучайно. Нам известно, что вы всех троих хорошо знаете.

– Еще бы не знать, – отвечаю. – Все дружки мои закадычные. С Пашкой Печерскую лавру закрывали, с Серегой у Котовского воевали, а с Вадькой росла вместе. Настоящие наши советские ребята.

Смотрю, а он пальчиками по столу постукивать начал – с эдакой нарождающейся злобкой.

– Вот что, девушка, – другим, чугунным голосом отчеканил он. – Что вы можете о них хорошего сказать, нас не интересует. Говорите о плохом. Ясно теперь?

Тут меня понесло.

– Во-первых, я вам давно не девушка. Трех мужей поменяла. А за этих ребят могу поручиться, как за себя.

Выпалила последнюю фразу и осеклась. Репутация-то моя для них, как пеленка у грудняшки, – мокренькая. Но, видно, и правда умела я парней на привязи держать. Смолчал. Потом вытянул неохотно из стола чистые листы, положил передо мной:

– Раз так, пишите поручительство.

Протянул ручку. Тут же назад отдернул.

– Только советую сперва крепенько подумать.

И смотрит в упор – особенно. Будто свою, потайную мысль в меня вкладывает.

Да я и сама догадалась, что голову в петлю сую. Только думать уже не могла. Головка-то хоть и умненькая была, притом что хорошенькая, но вот если мысли с чувствами расходились, тут она мне отказывала. У других, счастливых, при таком раскладе совесть съезживалась, а у меня в голове замыкало. Выхватила ручку. Да и сунула голову в петлю. Тетка промокнула повлажневшие губы, провела салфеткой по лбу.

– Через неделю за мной приехали. Теперь это как картинку в учебник истории рисовать можно: двое в кожанках и один с винтовкой. Месяца три в подследствии держали. Вот когда по-настоящему поняла, что такое жуть. Это когда коммунист измывался над коммунистом. С одной стороны, ты, верящий в Ленина, в коммунизм. А с другой – следователь. Тоже, вроде, на том же воспитан. Но вот изгаляется он над тобой, как над врагом, мужа твоего ни за что уничтожает. А ты не веришь, не хочешь верить, что он тебе и впрямь враг. И что не

ошибка всё, что происходит, не заблуждение, а продуманное массовое уничтожение лучших и надежнейших кадров. Хотя, поверь в это, наверное, чуть полегче бы стало. И мечешься ты по камере, не в силах понять, почему мальчишка-следователь на допросах с обслюнявленным ртом выкрикивает дико: «Признавайся, вражина, что была в одной шпионской группе с этим своим Сережкой!» А ты только зубами хрустишь.

– Били? – не удержался я.

Тётка на секунду запнулась. Хотела, видно, для остроты приврать. Но – честь ей и хвала – удержалась:

– Нет. Меня – нет. Не того масштаба я для них фигура была. Мне и без того стресса хватило. И что по сравнению с этим привычные страхи? В детстве мышей боялась до одури. А тут проснусь ночью в камере, смахну жирную крысу и дальше сплю. Спали, кстати, обязательно лицом к двери.

– А это зачем?

– Чтоб надзиратель мог в «глазок» разглядеть: а вдруг ты с собой что сделала. Там и впрямь умереть порой за немыслимое благо казалось. Вот они и следили, чтоб тебе это счастье без их санкции не перепало.

Через три месяца объявили приговор: «Пять лет лагерей за недоносительство». Ты понял: за не-до-но-си-тель-ство! В шестьдесят первом встретила я с одним из тех ребят и только тогда узнала с изумлением, что никого из них в те страшные годы не тронули. Даже не знали, за что отсидела. Думали, за мужа. Какова хохмочка?

Тетка натужно засмеялась.

– Тот год для меня вообще мерзопакостным выдался. Я ведь еще и сына потеряла. Пока оставалась на свободе, успела связаться с троюродной сестрой в Крыму. После моего ареста Нюся увезла его к себе. Там же пошел мой хлопчик в десятый класс. Так прознали-таки. Нашлась гримза-учительница, объявила перед классом, что у них теперь учится сын законченных врагов народа. А семнадцать лет – самый поганый возраст. Ушел в горы и – не вернулся. Через три недели нашли повесившимся с рисунком в кулаке. Мне Нюся рассказала, что на нём было. Он, муж и я подходим к воротам вроде рая, но с надписью «Коммунизм», а сверху бог с лицом Ленина руки протягивает. Да, поганый это возраст – семнадцать лет.

Тетка пытается говорить спокойно. Она и впрямь внешне спокойна. Если ты сумел пережить боль от потери близких, то время потихоньку рубцует её, будто замораживая в леднике. Но порой лед подтаивает, и замороженная боль начинает ныть заново.

Мне кажется, что теткин голос прервался. Видимо, так и было. Потому что она сердито прокашлялась, испытующе скосилась на меня – заметил ли. Делаю вид, что нет, – только бы не оборвались воспоминания. – Отправили меня в Карлаг. Всё там было: и грязь, и нечисть, и мысли дикие, и звезд ночной полет. Довелось и с уголовниками поаякаться, и вены резать пыталась... Это когда до меня о смерти хлопчика моего весть дошла. Думала, после такого не живут. А вот ведь перетерпела. В сороковом, когда два года оставалось, завела себе что-то вроде дембельского альбома.

Про этот альбом я от тетки мельком слышал. И даже видел несколько сохранившихся листиков. На каждом – рисованный человечек. Из тех, что «ручки, ножки, огуречик», и – четверостишие. Стихи мне тогда не показались, зато щемяще беззащитный человечек поразил. Вот он, отвернув голову, несет на вытянутой руке парашу. И ручка-прутик подрагивает: то ли от тяжести, то ли от брезгливости. А вот он стоит, съевшись, меж сторожевых вышек с головкой, тоскливо задранной к звездному небу. Знаю, со слов тетки, что блокнотик этот заветный она в пятидесятые отвезла Фадееву. И он даже будто бы загорелся напечатать. Но после его гибели блокнотик канул. Может, опечатали среди прочих бумаг.

Тётка шумно вздохнула:

– О дембеле размечталась, дуреха. Не поняла еще до конца, с кем дело имею. В сорок первом, как война началась, вызвали нас к куму и предъявили документик: до конца войны заключенные автоматически остаются в лагерях. Ничего больше не помню. Рухнула, говорят, на пол. Сейчас уж и не скажу, с чего так. Ведь уверена была, что война больше чем на год не затянется. Очухалась в госпитале в палате для умирающих с открывшейся язвой. Простыни липкие, холод. Мозг говорит: умри наконец. А тело отбрыкивается.

Провалялась три месяца, вышла из больницы. Но больше дней до освобождения не считала – чтоб с ума не спрыгнуть. Да и не рассчитывала дотянуть. Потому что осталось от меня на всё про всё сорок шесть килограммов костей – будто луна обгрызанная.

Вся прозрачная. Можно уроки анатомии проводить, не вскрывая. В общем, собралась бабонька подышать. Но тут начальник лагеря сменился. И надо же – подвезло, – в двадцатых под одним из моих мужей служил. Понятно, ни полсловом не дал знать. Но только перевели меня вдруг на метеостанцию – Метка, по-нашему. Это по тем местам удача неслыханная. Сродни хлеборезке. Наверное, помочь решил. А может, просто, чтоб умерла доходяга в стороне, по-тихому.

И началась моя новая жизнь. Метеостанция в стороне от лагеря. Заборчик, вышка, домик. Голая степь. Ветер пронизывающий в калитку ломится. По ночам волки ему подвывают. И ты среди этого одна, что былинка в поле. Любой походя затопчет. А кому затоптать, было. Степь вся в лагерях. То и дело бегут. В основном блатняки, беспредельщики. А Метка – она посреди степи как маяк. Кого еще на огонек вынесет? Правда, собак молодых дали, кавказцев. Вот они меня и спасли. Не от людей. Тут Бог миловал. От голодной смерти. Меня-то, зэчку, на баланде держали, а для собак моих рацион другой. Даже мясо отпускали. Так я из их пайки потихоньку подворовывала. Ну, правда, молодчаги псы оказались. Ни разу не пожаловались. Через год вымахали так, что ко мне охрана ездить перестала – пёсики не подпускают. А пристрелить жалко – сами дали. Потом это же не зэчка. Госимущество как-никак. На балансе. Выделили мне клячу Алку, и стала я на ней сама в лагерь с отчетами да за продуктами ездить. А Метку так на меня и переложили. Даже проверками не досаждали.

И понимаешь, племяш, какая штука. Чем больше меня жизнь бьет, тем, чувствую, крепче во мне человек. Не то чтоб человечие. А просто человек. Чистюля, помыться любит, одеться старается поопрятней, поест, пусть не сытно, но вовремя, волосы по утрам расчесать. В лагере пока была, ты – хошь не хошь – казенная единица. Всё наперед размерено. Разве что ногами сама перебираешь. А как на Метку отправили, зажила тётка! Со временем даже парой платиц цветастых разбогатела. На люди в них, понятно, не показывалась, но наедине с собой форсила! Представляешь?

Очень даже представляю. Только вчера прогуливал тётку до аптеки. В маленькой шляпке, в шифоновом платице в талию, рукав «фонариком», в туфельках с бантиками, она несла себя по Большой Подвальной. И встречные огорошенно обмирали при виде этого изящного осколка тридцатых годов.

Тётка самодовольно прищурилась:

– С платьями этими знатная история связана. Мне их врачиха одна подарила. Не из зоны. Из Караганды. У нас в лагере хирург-глазник знаменитый сидел, так она дочурку свою к нему привезла. Девчонке стружка в глаз попала, слепота грозила. Связи у врачихи, похоже, в Карлаге серьезные были, раз операции на зоне добилась, да еще и аппаратуру выбила. А вот из лагеря велели уехать. Представляешь? Ребенка на операцию оставляют, а мать, у которой судьба дочери решается, гонят от неё за сотни километров.

Ошалела, видно, бабонька. Кинулась к заключенным: спрячьте, отблагодарю. А где в лагере чужого спрячешь? Вот и посоветовали на Метку. Знали, стервецы, что ко мне охранники лишний раз не сунутся. Начальство наверняка прознало. Но смолчало.

С неделю у меня прожила. Операция удачно прошла. Спасли девке зрение. Только ее еще надо было наблюдать, лечить. Что делать? Но – пробивная! Опять по связям рванула. Договорилась, чтоб дочка, пока лечат, у меня на Метке жила. А я, хоть меня никто не спрашивает, как раз не против. Так у меня десятилетняя пацанка поселилась. Ничего, сжились, – привязчивая, стервочка, оказалась. Даже с пёсиками моими сдружилась. Через два месяца мать за ней вернулась. Когда прощались, протянула адресок. Мол, как освободят, сразу ко мне, в Караганду. Устрою на работу. Жить, пока комнату не подберем, у меня будешь. По тем временам слова эти дорогого стоили. В Киев-то я при всех раскладах вернуться бы не смогла – поражение в правах.

Обнялись мы, разнюнились. А дочка стоит рядом и тоже, смотрю, слезки потекли. Она ведь в первый раз увидела, как я плачу. Врачиха мне и туфли с бантиками хотела оставить, но там два лишних размера оказалось.

Уехали они. И так мне худо стало. Будто заново осиротела. Опять осталась со степью один на один. Ночью волки воют, собаки в ответ заходятся, степь холодом веет, а маленький человечек, который и весит-то меньше хорошей собаки, сидит себе в домике, подложил ручонки под подбородок и тоже подпискивает: мол, отпустила бы ты меня, степь, в стольный Киев, к каштанчикам моим любимым, ведь ни в чем я перед тобой не виновата.

И вот сижу я, травлю себя по ночи. Вдруг слышу среди степных звуков новый вкрапился. И не звук даже, а так – будто дыхание. Я ведь, как меломан в оркестре, любой шорох в степи различала. Вскинула голову, напряглась. И впрямь посторонний звук. Усиливается. Уже жужжит тихонько, пофыркивает. Меня аж ошпарило: «Машина! Значит, по мою душу».

Время тогда, племяш, такое было: для вольных настоящего закона не существовало. А уж для эзков... Поступит команда, приедут, заберут, да и пристрелят по дороге при попытке. А потом сактируют. После трех месяцев предварилочки ничего так не страшилась. Я ведь опять надеждой на освобождение жить начала. Сорок пятый шел. И вот на тебе – едут. Настал, стало быть, мой час. Тоскушка-потаскушка моя хиленькая вмиг испарилась. Одна мысль: «Неужели всё?!» Не знаю, на что решиться: разве собак с цепи спустить? Так в этом случае и с ними церемониться не станут – перестреляют.

А гул то затихнет, то вновь приблизится. Значит, не по прямой едут, петляют. Начинаю соображать: раз прямой дороги не знают, может, не охрана, а кто залётный. Кинулась огонь в доме тушить – если и впрямь чужие, не заметят да мимо проскочат. Только поздно сообразила. Минут через пятнадцать подъехали. Стучат в ворота. Чему быть, того не миновать, – открыла. Собак так и не спустила – их-то за что понапрасну губить?

Вижу, газик тусклыми фарами на забор светит. И низенький паренек лет двадцати пяти в кожаных куртке и кепке перед калиткой сапогами на морозе притоптывает. Да еще пустым ведром себя по спине околачивает. И такой вид разухабистый – чистый опер. Шарю глазами по кожанке, ищу, где оружие запрятано.

– Что, мамаша, – спрашивает, – не подкинешь водички, в радиатор залить? Заблудился на охоте.

Значит, всё-таки не по мою душу. Пронесло на сей раз. Господи, Боже мой, слава тебе, Всевышний! И не соображаю, что вслух молюсь. В первый раз в жизни. Я ведь и до того, и после того – атеистка прожженная. А тут, видать, уверовала ненадолго. Опомнилась, только когда у него щека задергалась:

– Ты чего блажишь-то, старая?

«Блажишь» – это я бы ему спустила. А вот за старуху обиделась. Хотя, в сущности, ею и была, – тётка ткнула в сторону фото. – Отобрала ведро, калитку перед носом на щеколду затворила – он-то хотел следом втиснуться, – налила воды, заново открываю калитку, и – ведро из рук! Позади разбитного паренька стоит медведь и мерно раскачивается. Ну не то

чтоб совсем медведь, но ростом и осанкой – один в один. К тому же весь в меху, от волчьей шапки до собачьих унт.

Должно быть, остолбенела я. Потому что паренек этот, язва, заухмылялся. На ведро пролитое поглядел с сожалением, головой с ехидцей покачал: плоховато-де с нервишками, хозяйка. Потом скосился на медведя и говорит:

– Пусти-ка ты нас погреться. Подмерзли малёк. Да не бойся, мы не кусаемся.

Не догадывался он, что кусачих я куда меньше боюсь. Я б, может, и прогнала. Тем более по инструкции любой контакт заключенных с вольными запрещён. Надо б сказать, что зэчка я. Сами пулей развернутся. А что, если, наоборот, решат: раз бесправная, всё дозволено? Да и видно, что намерзлись. Впустила, конечно.

Входят в дом. Медведь при свете, как шапку стянул, в человека превратился. Только рост остался медвежий – за два метра. Лицо крепкое, каменноскулое. А глаза – махонькие, но до чего живые и теплые. Как в них заглянула, отлегло, – с этой стороны беды не будет. Не понравилось, правда, что повел себя больно по-хозяйски. Прошелся вразвалочку, оглядел небогатую обстановку да хилую утварь, второму кивнул, и тот – тотчас из дома. Я было обеспокоилась – никак что удумал. Но напрасно – опустил на табурет и будто врос. Сидит, молчит да меня в упор разглядывает – из-под платка вылушивает. А унты-то в снегу. И снег, вижу, подтаивать начал. Ну, какая у тебя тетка чистюля, сам знаешь. Сказать ничего не сказала, но зыркнула от души. Думала, взовьется. А он вместо этого затылок лапищей почесал и так обескураженно улыбнулся, – если и появилась во мне злость, исчезла тут же. Ну как на такого Медведика сердиться!

При этом прозвище какая-то неясная догадка всколыхнулась во мне. Что-то смутно знакомое, где-то слышанное. Возбуждение моё тетка подметила, но то ли не обратила внимание, то ли не сочла нужным отвлекаться.

– Так вот, сидим. И всё это время во мне свербит: надо, наконец, признаться, кто я. То, что Медведик этот – большое начальство, поняла сразу. В зону пропуск на охоту кому попало не дадут. Только контакт с политической зэчкой – это вам не сайгачья охота. Коснись чего, не поглядят, что начальствою Медведей, их ведь тоже собаками травят. Только собралась с духом, второй возвращается, из машины корзину с продуктами тащит. И чего там только не было, мама дорогая! Колбаса, сыры, икра даже черная. Ну и водка, конечно.

Вот ведь интересно. Когда меня арестовали, следователь-стервишко недели через две пытку удумал: на допросе вытащил колбасу, мясо и давай кусманами наяривать. Я тогда в него пепельницей запустила – так боялась колбасу схватить. А тут шесть лет отсидела, стол от продуктов ломится, каких с тридцать восьмого не видела. Сами предлагают. А я креплюсь. И глаза отвожу, чтоб не выдать, насколько голодна. Гордость отчего-то обуяла.

Медведик меж тем молча посапывает, чесночную колбасу ломтями в рот запускает да водку лупит стаканами. Один Володька – он представился – разговор поддерживает:

– Не страшно одной в степи? И чем же это люди так досадили, что от всех подальше в вольноопределяющиеся подалась?

Больше скрывать было нельзя.

– Не я выбирала, – отвечаю. – Заключение куда пошлют, туда идет.

Выпала. И поднялась, чтоб проводить. Володька и впрямь осёкся, принялся рукой по лавке шарить – кепку искал. А кепка на голове оставалась – снять забыл. А вот Медведик странно себя повел. Отставил стакан, осмотрел меня по-новому, потом протянул колбасу и увесисто так, будто землю бульдозером разрывает, потребовал:

– Ешьте.

И знаешь, начала я есть. Может, оттого, что впервые голос его услышала. Ем и молчу. И они оба молчат. То на меня зыркнут, то меж собой переглянутся. Наконец поднялись. Володька замельтешил:

– Спасибо за уют-ласку, а нам пора.

И слава богу, что пора. Проводила. Заперла за ними калитку. Возвращаюсь, а корзина с оставшимися продуктами в сенах стоит. Забыли. Значит, повезло мне – еще месячишко-другой на подсобных харчах протяну. Уверена была – больше не увижу. Только месяца не прошло, опять гул в степи. И снова двое – впереди Володька с корзиной шествует, а Медведик следом топает. Пронесят корзину в дом, я Володьке пустую отдаю. Минут тридцать посидели, помолчали и – поднялись. Так и повадились. Приедут, посидят, Володька потреплется ни о чем, Медведик помолчит, посопит, корзины обменяют и – дальше, фарами степь выстригать. Вдвоем всегда приезжали. Видно, никому, кроме Володьки, Медведик не доверял.

Кто я, откуда – ни ползвук. Медведик вообще за всё время, дай бог, десятка два слов обронил. Только глазёнки жадные – куда я, туда и они следом. Будто каждый раз на месяц вперед мною пропитывался. Тут и слов не надо. А вот Володька, у того язык не на привязи. То там, то здесь проболтается. От него я и выведала, кто такой Медведик.

И тут наконец меня озарило: ведь Медведиком, со слов мамы, тетка называла последнего из своих мужей. После него замуж уже не пошла, хотя домогались даже в шестьдесят.

– Кажется, он был директором какого-то комбината! – выкрикнул я.

– Угольного, племяш, угольного, – улыбаясь глазами, подтвердила тётя Оля. – И не какого-то, а в Караганде. То есть бог и царь. Хотя нет – только царь. И тоже под богом ходил. И если б прознали, что под видом охоты эчку политическую навещает, сам понимаешь, – тетка полоснула себя ребром ладони по горлу. – Но ездил ведь, стервец! А мне в конце концов что? Хочет – ездит, шуганут – вмиг остынет. А пока – какое-никакое развлечение. Да и – что душой кривить? – он же меня, доходягу, на ноги поставил. Полгода так продолжалось. А потом очередной месяц прошел – их нет. День, другой – всё нет. Во мне отчего-то раздражение забурило, шутки они со мной шутить вздумали – хотим заедем, хотим нет. Появитесь, думаю, голубчики, хрен я вас на порог пущу. Через пару дней подобрела – черт с вами, пущу. Но так встречу, что сами пулей усвистаете. Корзину отдам, а новую назло не возьму. То-то морда сытая медвежья вытянется! С мыслью о сладкой мести заснула. Еще неделя прокатилась! Слух мой хваленый изменил мне окончательно: чуть не каждый час гул машины чудится, – бегу к калитке. И когда в очередной раз так впустую сбегала, будто вспышка: бабонька, да ты ж его ждешь! Поняла – и сама себе поразилась. Так не бывает! Ведь восемь лет скорбного существования, казалось, давно во мне женщину спалили. И вдруг откуда что берется? Будто травинка сквозь асфальт продралась. Что же это за сила у жизни такая? И следом запоздалая догадка: раз не приехал, значит, беда с ним? Как стояла меж моих пёсиков, так меж них и осела. Людям бы такими чуткими быть, как собакам, – вылизывать принялись, утешать.

Меж тем второй месяц на излет пошел. Начала я сама с собой психотерапию: выбрось, мол, из головы. Тем более будущего здесь изначально не было. Что ж пустые слёзы лить? Наоборот, радуйся, что ни разу не застигли. А то бы новый срок схлопотала. И вообще всё, что свершается, к лучшему: из ниоткуда пришло, в никуда уйдет. Здорово я себя укрепила. Прямо якорем!

К вечеру – гудение. Сердце захолонуло, якорь сорвало, как не бывало, ноги сами к калитке понесли. Вся терапия, само собой, разом с меня слетела. Даже в голову не пришло, что это могут оказаться лагерные – по мою душу.

И точно – знакомый газик подъехал. И в нем всего один человек – Медведик. Оказалось, Володька ногу сломал. Так Медведик, чтоб ко мне приехать, научился сам машину водить. Это он мне после сказал. А в тот момент хотела для порядка отсобачить. Только он как шел, так, не останавливаясь, подхватил меня вытянутыми руками и понес перед собой. А в доме даже на пол не поставил. Приблизил глаза в глаза и...

Дыхание тётки Оли сделалось прерывистым, взор замутился. Вялые щеки зарумянились, по лицу забродила томная улыбка. И это в шестьдесят четыре! Каким же сладким призом становилась она для мужчин, которых любила в молодости.

– Что дальше-то? – некстати поторопил я.

Тетка вздрогнула, смутилась.

– Что могло быть дальше? Пропала тётка. Я ему в ту ночь впервые о себе рассказала, чтоб понимал, какой чумной заразы коснулся, и – бежал, пока не поздно.

Глазищи ее потеплели:

– Не убежал, конечно. Не того калибра мужик. Медведи, говорит, к чуме невосприимчивы.

Тётя Оля хмыкнула растроганно.

– С тем и простились на две недели. То есть это я думала, что на две недели. Забыла влюбленная баба, что нельзя жить надеждами. На другой день поехала на своей Алке в лагерь – сдуру верхом. А та – даром что кляча – с чего-то понесла. Мне после в больнице объяснили, что чудом жива осталась.

И бывают же подарки судьбы – после больницы освободили. Приехала в Караганду к врачихе своей. И что думаешь? В самом деле приняла. И дочка ее меня не забыла – на шею кинулась. Ещё и в больницу к себе нянечкой пристроила. Она же мне и жильё подыскала. Нет, что ни говори, а если человек настоящий – он во все времена настоящим остается. А кисель – всегда кисель.

– А как же?!.. – в нетерпении перебил я.

– О чем ты? – тетка усмехнулась. – Я ж пораженная в правах. И ты хотел, чтоб я к директору комбината заявила: мол, вот она, ваша нечаянная радость. Одно дело Метка, где никто не видит, и совсем иное среди злых глаз. Правда, Медведик клялся, что вдовец и что будет ждать. Так ночью в чем не поклянешься! Нет уж, не в моих правилах других подставлять.

Тётка глянула на ходики – вот-вот должна была забежать на обед Верочка – и принялась сгребать рассыпанные бумаги обратно в конверт. Должно быть, вид у меня был совершенно разочарованный. Тётя Оля смилостивилась.

– Он меня сам разыскал, – небрежно сообщила она. – Прямо в больнице на глазах у всех подлетел и тряхнул так, что косынка с головы свалилась. «Где ж ты пропадала, стерва?» Думала, прибьет прилюдно. Лицо пунцовое, губы дрожат, глазки навывкате. После выяснилось, что он к моему освобождению руку приложил и, когда не появилась, чуть ли не в розыск объявил. В общем, сгреб в охапку и поволок к себе в берлогу, то бишь в квартиру.

Тётя Оля отчего-то вновь углубилась в обе свои фотографии. А я с нетерпением жду: если о самом Медведике среди родственников смутные разговоры ходили, то почему и как тётка с ним рассталась, никто толком не знал.

В тётке умерла актриса – усиливая эффект, затягивает и затягивает паузу. И, только когда от тишины начинает звенеть в ушах, выдавливает:

– Вот и от него у меня даже фотографии не осталось. Так внезапно всё произошло. Три года прожили вместе. Я уж в судьбу была готова уверовать – будто человеку за несчастья обязательно должно воздаться. И считала, воздалось. Наивная! Как-то вечером возвращаюсь с работы, вижу у подъезда газик, а в нем Володька за рулем. Сразу недоброе почуяла. Он тоже меня увидел, выскочил:

– Ольга Михайловна, поторопитесь, вещи уже в машине.

– Какие еще вещи?

Метнулась наверх, в квартиру. Медведик на диване сидит.

Открыла было рот, чтоб закричать: что, мол, за дела за моей спиной? Но по тому, как он поднялся, поняла: нет времени на бабьи истерики.

Протянул мне листок.

– Здесь адрес моего друга. В Киеве всё может. Он тебе уже комнату выделил и с работой всё организует так, что никто вопросов задавать не станет. Билеты на поезд у Володи. Он и поса дит.

Обхватил меня, приподнял как когда-то – глаза в глаза. И такую я там тоску разглядела, что можно и не спрашивать. Всё-таки пролепетала:

– Неужели и до тебя добрались?

Медведик насупился:

– Только не вздумай написать. Когда всё уладится, сам приеду.

– Так и не приехал! – тоскливо выдохнула тетка. – Я потом рискнула – врачихе своей черкнула. От нее узнала, что арестовали их с Володькой чуть ли не на другой день после моего бегства – за вредительство. Какой-то безумный план не выполнил. А еще через два года звонок в квартиру. Открываю, а там врачихина дочка подросток стоит. Мать от перитонита умерла, так эта стервочка ко мне сиганула. Так и приросла на всю жизнь. Тётка намекающе ждет. Я уже давно догадался. Но, чтоб доставить ей удовольствие, делаю изумленные глаза:

– Неужто Верочка?!

Тетя Оля, довольная удавшимся розыгрышем, кивает.

– А о Медведике так больше и ничего? – со слабой надеждой напоминаю я. – Может, всё-таки?...

– Сгинул, – тетка посмурнела. – Это у птичек-невеличек вроде меня шанец какой-никакой оставался, а как медведю на лагерной баланде выжить? Да с его-то шатуньим нором!

Она угрюмо скрежещет зубками.

– Какое племя под корень вывели, сволочи! Зато теперь сплошное быдло свинячье жирует. Вот они, племяш, зигзаги истории. – с привычной ностальгией оглаживает томик Ленина. – Всего-то трех-четырех лет ему не хватило. Совсем в другой стране жили бы!

На этот раз я не спорю. В шестьдесят восьмом сам был в том же уверен.

– А еще я им Мишку Кольцова никогда не прощу! – внезапно выпаливает тетя Оля.

У тётки серьезный счет к советской власти. Нынешних властителей она считает сталинскими последышами, извратившими ленинские идеи, и ведет с ними непримиримую борьбу. На ее счастье, советская власть об этом не догадывается и не мешает ей тихонько стариться в чистенькой комнатенке на Владимирской, под любимыми киевскими каштанчиками.

Золотой мальчик

На всё про всё оставались жалкие три недели. Три недели из трёх месяцев после дембеля.

Еще в армии Игорь Владимирович отвел себе этот срок, чтоб оформить накопленные сюжеты в рассказы и повести и разослать их по журналам.

По возвращении домой, полный радостного нетерпения, принялся он за работу. С азартом, какого не знал прежде, набрасывался на чистые листы бумаги. Два месяца, преодолевая соблазны, просидел, закрывшись в комнате.

Увы! Предвкушение успеха обернулось душевной мукой. Юнцом, стоило остаться одному, воображение захлёстывало его, так что едва находил время наспех записать обрывочные пометки. А чаще не находил вовсе. Слишком сладкими, волнующими были мечтания, в которые погружался, чтобы отвлекаться на ручку и бумагу. И удивительные истории и образы, заслонённые новыми, забывались. А эти новые растворялись среди следующих. Это огорчало, но не пугало. Казалось, избытка им не будет. Всего-то надо наконец заставить себя сесть и записать.

Он заставил. Спустил пять лет. Но что-то надломилось за эти годы душевного простоя. А главное, фантазия, сладкая и верная, казалось, подруга его, испарилась. Быть может, перелетела к другому, более усердному.

Всё-таки он написал с десяток рассказов, наброски к пьесе. Но сам видел, что всё это не дотягивает до серьёзного уровня. Даже лучшее требовало переделки или правки. А сил на кропотливую работу после двух месяцев разочарований более в себе не находил.

Вчера, правда, проблеснул недурной этюд, – Игорь Владимирович самодовольно улыбнулся и потянулся перечитать.

– Игорёк, иди обедать! – крикнула из кухни мать.

Игорь Владимирович в сердцах захлопнул тетрадку, убрал ее в ящик и выскочил из-за стола. Задержался у зеркала. Там отразилась высокая гибкая фигура. «И чего девки во мне находят? Плечи могли бы быть пошире, да и голова мелковата. Будто у ихтиозавра», – ненадолго подумал Игорь Владимирович, с удовольствием разглядывая тонкие чистые черты лица.

Из кухни вновь донесся призывный крик матери.

– Да иду же! – Игорь Владимирович раздраженно отбросил расческу.

В коридоре столкнулся с вышедшей из гостиной младшей сестрой. При тусклом свете сорокаваттной лампочки лицо сестры показалось бледнее, чем обычно. Она нервно потерла длинными пальцами виски и прошла на кухню, словно не заметив брата. После последней ссоры они перестали разговаривать.

Поначалу все трое ели молча. Иногда Игорь Владимирович резким голосом просил у сестры передать ему солонку или горчицу, и та, не отрываясь от книги, придвигала требуемое. Бесстрастное равнодушие сестры задевало Игоря Владимировича, и он с трудом удерживался от ядовитой реплики.

Мать ела беспокойно. Всё время порывалась что-то сказать. Догадываясь, о чем пойдет речь, Игорь Владимирович с неудовольствием дул на горячий борщ. Наконец мать решилась. Будто только сейчас вспомнив, хлопнула себя по лбу:

– Вчера Марка встретила. Говорит, у них в газете освободилось место. Может похлопотать.

Игорь Владимирович, не ответив, подвинул ей тарелку с остатками овощей. Мать выплила:

– Ты что ж так и собираешься дома до пенсии отсиживаться?

– Но, испугавшись, что обидела сына, поспешно поправилась:

– Мы, конечно, можем тебя одевать и кормить, но только если ты будешь занят делом... Пойми, сынок, тебе двадцать пять. Позади институт, армия. Надо бы наконец устраиваться. Отец в двадцать пять уже начальником цеха работал.

– Ну да, он и сейчас им работает, – не удержался Игорь Владимирович. Сам понял, что сказал лишнее, но увидел, как зыркнула исподлобья сестра, и распалился: – Мне по закону после армии три месяца отдыхать положено. А прошло чуть больше двух. Может, за оставшееся время найду себе дело по призванию? Что ж мне, учительшкой, что ли, идти, если вы меня в своё время в проклятый пед засунули?

При этом привычном упреке мать тяжело замолчала. Но вступилась сестра:

– А почему бы тебе, собственно, и не пойти учителем? Раз ничего другого не умеешь.

Обида охватила сразу, всего:

– Это ты завалишь вступительные и пойдешь в какой-нибудь Дворец культуры соплежув гаммам натаскивать. Учить она меня вздумала. Курица!

Еще три года назад сестра начала бы спорить, кричать, быть может, заплакала. Теперь допила компот, поблагодарила мать и вернулась в гостиную, откуда тотчас послышалась мелодия Бетховенской сонаты.

– Вот так целыми днями, – вздохнула мать. – Трудится до отупения. Как бы не переиграла. Я Норе написала насчет Киевской консерватории, та похлопотала. Но – наотрез отказалась. Задалась целью в Гнесинку и – больше никуда. А куда ей с её техникой в Гнесинску? Но я уж молчу как рыба. Помню твой горький опыт. Эх, к ее бы старательности да твой талант!

– Ты не виновата, – великодушно утешил ее Игорь Владимирович. – В семнадцать лет у самого голова должна быть на плечах.

– Я ведь думала как лучше, сынок! – растроганная мать притянула его к себе. – Рассудила: провалишься в МГУ – душевная травма. Ты ж такой ранимый. Да и армия маячит. А пед – вариант беспроектный. К тому же можно было в аспирантуру или журналистом. При твоих-то способностях! Вот Марк вчера...

– Я тебе уже объяснял, мама, – Игорь Владимирович освободился из ее рук. – Газета – это штамп. Хочешь погубить себя – иди туда.

Мать никогда этому не верила. Но спорить с сыном с его гипертрофированным самолюбием не решалась. Всё-таки попыталась осторожно возразить:

– Но ведь многие начинали с мелочей. А потом стали международниками. Талант, он всюду пробьётся.

– Талант, талант! Да нет у меня никакого таланта! – как всегда неожиданно, вспылел Игорь Владимирович. – Выдумали байку про золотого мальчика. А я обычный. Обычный! И отстаньте все от меня!

Он пробежал по наполненному музыкой коридору, подскочил к гостинной, крикнул в склоненную близоруко над пюпитром фигурку:

– Закрывать надо! Гилельс задрипанная!

Хлопнул от души дверь.

– И не входите ко мне! Я занят! – рывкнул он в сторону кухни, вбежал в свою комнату и вжался лбом в тёплое оконное стекло.

– Сволочь! Какая же я сволочь, – зашептал он. Как-то всё нескладно выходит. Всё как-то... Вот ведь любит он мать и сестру, а что на деле? Мать всегда в слезах, с сестрой и вовсе будто чужие. Почему всё так сложно и почему он такой сложный? А ведь со стороны, верно, натуральным подлецом выглядит.

Игорь Владимирович представил, что за происшедшей сценой наблюдал кто-то посторонний, невидимый. И его бы спросили потом: «Ну, как этот Игорь Владимирович?» – «Неврастеник и пустышка». Так бы, наверное, и сказал.

Все мы с плеча рубим, торопимся ярлыками обклеить. Но ведь грязь, что на поверхности, порой не суть, а ширма. Ты не поленись, в глубину загляни. Вот в чем настоящая задача мастера – добраться до человеческой изнанки. Ведь это так заманчиво: постичь человека обстоятельно, скрупулёзно и найти точные, единственные слова, что лягут в текст одно к одному, как жемчужинки в колье.

От красивых этих мыслей Игорю Владимировичу сделалось уютно. Домашние склоки, собственные неурядицы отдалились, и он принялся мечтать, как входит в ресторан ЦДЛ, никому ещё не известный, не состоявшийся. Играет музыка. И вдруг всех присутствующих откуда-то сверху будто током пронзило: «Снимите шляпы, рядом с вами гений!» И зал замирает заворуженно. А красавица фигуристка, отмечающая победу на последней Олимпиаде, поднимается и под завистливыми взглядами приглашает его на белый танец. И они вальсируют, вальсируют. Раз-два-три. Раз-два-три.

– Раз-два-три, – Игорь Владимирович сделал круг.

В дверь протиснулась голова матери. Игорь Владимирович замер, отчего-то притворился, будто занимается гимнастикой, прервался, поняв, что выглядит глупо, и с такой злостью глянул на беспардонную мать, что та поспешно отскочила.

– Я тебя уж два раза к телефону звала! – донесся из коридора обиженный ее голос. – Дружки названивают.

Игорь Владимирович хотел убрать тетрадь, но вспомнил, что так и не достал ее. Приемыли приглашали разгуляться пивком. Накануне изрядно перебрали в кафе.

«Ну и черт с ним, – решил Игорь Владимирович. – Все равно не пишется».

– Я прогуляться, – бросил он.

Мать пожала плечами.

Компания уже понуро сидела в полупустом ресторане вокруг покрытого неопрятной скатертью стола, в ожидании похмелья перебарываясь квёлыми, через силу фразами. Игорь Владимирович оглядел пообтершихся, начавших лысеть друзей, увязших в семьях, заботах, карьерах, и вспомнил, какими они были всего восемь лет до того. Молоденькие, звонкие, один другого краше, будто их таких специально подбирали.

– «Золотые» мальчишки пришли, – радовались официантки, когда шумно и нахально вваливались они без очереди в рестораны. Те официантки, их подружки, давно замужем; кто остался, поднялись до метрдотелей, а новенькие не больно-то обращают на них внимание. Вот и теперь изнемогающий с перепоя Мишка изо всех сил гипнотизирует смазливую официанточку своей безотказной прежде улыбкой, но та что-то не больно реагирует.

С подошедшим Игорем Владимировичем поздоровались скупыми кивками. Плохо скрывая, что, в сущности, им нет до него никакого дела.

А ведь еще недавно повсюду его «подавали»: «Наш писатель». Хотя никаким писателем он, конечно, не был. А был лишь автором небольшого рассказа, который Марк приметил и опубликовал в своей газете.

«Недурной, кстати, получился рассказик», – потеплело внутри у Игоря Владимировича. После, набравшись смелости, он переправил его в «Юность». И хоть не напечатали, но отзыв прислали очень доброжелательный. С предложением присылать ещё. Как же коротка дистанция от преклонения до разочарования!

«И зачем мне всегда твердили, что я талантлив? – с обидой подумал он. – В школе, в институте. А уж дома-то! «Ты же можешь!»; «Ах, вы могли бы!»; «Несомненно, вы могли!» – со злой иронией передразнил он восхвалителей и осекся, поняв, что в трех этих фразах невольно воспроизвел свою нынешнюю судьбу.

Мог! Только всё ждал чего-то. Будто само придумается, само напишется. Не придумалось и не написалось. Как смешон ему ныне тот самоуверенный мальчишка, что с калькулятором прикидывал возраст, к которому станет Нобелевским лауреатом. Его давно нет.

Ничего не случилось. Просто шарик крутнулся десяток раз вокруг солнца, и мальчишка, «золотой» юнец, всеобщий баловень, исчез. Никто и не заметил пропажи. Все думают, что тот мальчишка – он. Наивные!

Игорь Владимирович зло хмыкнул. На него удивленно скосились.

– Джентльмены, покидаю вас, – он поднялся. – Потешный час закончился. И снова – делу время. Деньги будут, высылайте. – Пожал вялые ладони. Никто не остановил его.

В скверике возле троллейбусной остановки, на витой скамейке, сидела пожилая женщина с книгой, а в траве, рядом с ней, копошился мальчуган в панамке.

Игорь Владимирович застыл. За восемь лет, что не видел он свою классную руководительницу, она ощутимо сдала. Мешки под глазами, и прежде заметные, набухли и потемнели, лицо покрылось пигментными пятнышками.

– Здравствуйте, Вероника Капитоновна, – бодро и одновременно чуть томно поздоровался Игорь Владимирович.

– Здравствуйте, – Вероника Капитоновна подняла голову, прищурилась.

Игорь Владимирович выдержал кокетливую паузу. Вероника Капитоновна продолжала всматриваться. Потом глаза её как-то потускнели. Она, похоже, смирилась, что не сможет припомнить этого молодого человека. Однако, боясь обидеть, напряженно ждала.

– А вы, должно быть, всё так же верны шестой школе? – намекнул Игорь Владимирович.

– Была, была верна, – учительница поправила воротничок на подбежавшем малыше. – Теперь уж три года на пенсии... А как вы? – она сбилась смущенно.

«Неужели и впрямь так изменился?» – Игорем Владимировичем овладела досада. Захотелось даже уйти не узнанным, но теперь это было неудобно.

– Ай-я-яй, Вероника Капитоновна! Ученика признавать не хотите. А говорили, будто я у вас из любимчиков.

Смущенная учительница грустно улыбнулась.

– А такого Маргелова помните? – не выдержал Игорь Владимирович. Он улыбнулся широко, готовый принять восторженные извинения. И – посерел: старушка смотрела всё так же старательно и напряженно.

– Да я ж учился у вас! – принялся уговаривать её Игорь Владимирович. – Во всех школьных спектаклях играл. Даже сценарий для выпускного написал. Вы мне, когда аттестат вручали, ещё сказали: «С нетерпением жду твоей первой книги»... Ну, Маргелов же я! – он окончательно сбился. – С Бурханчиком за одной партой сидели!

– Бурханчик! – обрадовалась Вероника Капитоновна. – Да, да, помню! Заходил два года назад. Знаю, что успел защитить диссертацию. Уже завлаб. Очень оказался способный мальчик.

– Вот-вот. А я Маргелов. За партой вместе...

Глаза Вероники Капитоновны наполнились слезами.

– Не помню. С памятью у меня неладно, – она прижала морщинистые руки к вискам и повторила мучительно. – Не помню! Не помню!

– Бабушка! – Малыш, настороженно смотревший на обоих, потеребил ее за рукав. – Тебе же нельзя волноваться! – Насупившись, посмотрел на незнакомца:

– Ей нельзя волноваться!

– Простите, – пробормотал Игорь Владимирович и побрел прочь.

Встреча с учительницей потрясла его. Десятки раз в своих фантазиях он встречался с ней, и всякий раз она шумно, во всеуслышание восхищалась своим неуживчивым, но незаурядным учеником. Она должна была восхищаться им, как прежде. Не могла не восхищаться. И вдруг обнаружилось, что он вовсе вычеркнут из её памяти. Будто и не было.

Всякий раз, мечтая об успехе, о грядущей славе, он представлял своих одноклассников и однокурсников, девочек, на которых когда-то заглядывался безответно. И все они представлялись растерянными, ошеломленными его успехом, сокрушенные оттого, что не оценили прежде. А оказывается, для любого из них есть вещи в тысячу раз более важные, чем Игорек Маргелов. И даже стань он и впрямь знаменитостью, поудивляются в меру и снова погрузятся в дела и заботы. И никто из прежних друзей не бросит ради него мужей, детей, дом и не помчится со слезами раскаяния в гениальные объятия. «Да и не к кому бежать-то. Кончился гений, не начавшись», – горько припомнил он.

...В подъезде, как всегда, слышна была музыка.

Сначала Игорь Владимирович решил, что сестра включила запись фортепьянного концерта. Но, поднявшись на этаж, вдруг осознал, что играет она сама. Он даже остановился от неожиданности. За эти годы так привык к бренчанию рояля в соседней комнате, что воспринимал не как музыку, а как шумовой фон.

И вот сейчас, внезапно поняв, что сестра превратилась в отличную пианистку, он стоял и с недоверчивой улыбкой слушал мелодию Лунной сонаты. И так тихо стало на душе его, такая нежность поднялась к сестре, к матери – ко всем им, что терпят его и страдают из-за него. Захотелось броситься к обеим, обнять, сказать что-то ласковое, примирительное.

Неверными руками открыл он квартиру, распахнул дверь в гостиную. Мать вязала, прикрывшись возле рояля. Она быстро подняла на сына блестящие глаза, и стало видно, что очень ждала его.

– У нас событие, Игорёк, – начала она.

– Мама, не надо, – не обрывая музыки, потребовала сестра.

– Ну почему же? Он ведь твой брат... Мы тебе не говорили. Но сегодня были на прослушивании у Иохиллеса. Он берет её в свой класс, – всё еще изумленно-радостная, шепнула мать. – Сказал, что удивительное, редкое дарование. Ты представляешь?

– Поздравляю, – сухо произнес Игорь Владимирович и вышел. Счастливое состояние гармонии испарилось вмиг. У себя бросился на диван и вгрызся зубами в подушку.

Дверь скрипнула, и мать боязливо протиснулась внутрь:

– Ты не занимаешься, Игорёк?

Игорь Владимирович не ответил. Мать присела на краешек дивана и осторожно, боясь спугнуть, принялась гладить его волосы.

– Знаешь, сынок, – произнесла она. – Ты не сердись, но я, кажется, понимаю, что с тобой происходит. Это очень трудно – смириться, что мечтания завышены. Так бывает с каждым, но у тебя это затянулось.

– Не надо меня обхаживать! – Игорь Владимирович аж взвизгнул от обиды. – И нечего причитать, как над трупом. Завтра же отправлюсь к Марку и начну трубить – от и до, от и до! Ать-два, ать-два! От аванса до полочки. Ты ведь этого жаждешь?

Мать заплакала. В раскаянии перевернулся он на спину, дотянулся до её руки.

– Не надо, ма! Ты ж меня, дурака, знаешь.

– Ничего. Это нервы, – мать слабо улыбнулась. – Я ведь перед тобой очень виновата. Вбила когда-то эту дурь в голову. Вот теперь и расхлебываем... Да, Игорек! Посмотри, что нашла, – она вскочила с дивана, подбежала к магнитофону. – Вот, копалась в старых записях... – Она нажала на кнопку. Сначала что-то зашуршало. И вдруг тишину прорезал смех – такой безудержно-радостный и бесконечно чистый, что Игорь Владимирович не сразу узнал его.

– Это тебя на шестнадцатилетии отец тихонько записал, – сообщила гордая находкой мать. – Как ты чудесно смеялся, – вздохнула она.

– Убери. Убери это! – закричал Игорь Владимирович, зажимая уши. – Не хочу!

Перепуганная мать, путая от волнения клавиши, выключила магнитофон, подбежала к бьющемуся на диване сыну.

– Что ты? Что ты? – спрашивала она, готовая вновь разрыдаться. – Ну, посмотри же на меня.

Он поднял лицо, и мать увидела в глазах его жуткую, невыразимую тоску. Она обхватила его голову и крепко, как могла, прижала к себе. Сын обнял ее благодарно и затих.

– Всё уляжется! Поверь, всё непременно уляжется, – беспорядочно бормотала она. – И ты обязательно состоишься. Здесь ли, там. Но – обязательно. Только нужно время и труд. Время и труд.

Потом он заснул, а мать так и сидела на диване, боясь шевельнуться, чтоб не разбудить, заплаканная и почти счастливая.

4.06.73

Рыжий сашка

Когда в обкоме комсомола мне предложили путевку в международный молодежный лагерь в Ереване, я не раздумывал.

В семидесятые – восьмидесятые годы ММЛ, разбросанные по союзным республикам, стали любимым местом отдыха молодежи. Для нас, изолированных от внешнего мира, Закавказье, Прибалтика воспринимались как самая настоящая граница (каковыми в конце концов и оказались). А уж когда в центре Еревана, среди домов из красного туфа, в открытом уличном кафе попивал я кофе с коньяком и любовался ширококрылыми, непрерывно гудящими «фордами» и «мерседесами», окончательно убедился – заграничной не бывает.

Позже узнал, что иномарки эти подержанные и присылают их родственники из-за рубежа (в отличие от русских, армяне своих корней не теряют). Но и после этого восхищения не убавилось. Сочетание «подержанная иномарка» в моей голове решительно не укладывалось. В России и за инвалидскими «запорожцами» ломались с заднего хода.

Целый день пробродил я, ошалелый, по главным улицам. Поэтому до молодежного лагеря, разместившегося в гористой, окраинной части города, добрался лишь к концу дня заезда. В лагерной «стекляшке» уже вовсю шло братание, к которому я охотно присоединился.

В молодежные лагеря съезжалась комсомолка со всего Союза. Безупречные заведующие отделами и инструкторы райкомов и горкомов, оказавшись вдалеке от привычных ограничений, превращались в обычных юнцов и девчонок, каковыми, собственно, и были по возрасту, и оттягивались со страстью и удалью, каких в них не подозревали ни секретари-начальники, ни мужья с жёнами. Потому сходились друг с другом легко. Знакомились на брудершафт, и чем больше выпивали, тем больше друг другу нравились. Пили, как водится, пока не иссякало спиртное.

Последнее, что запомнилось в тот вечер, – долговязый парень с депутатским значком, который, ухватив меня за пуговицу (кажется, он за нее держался), страстно объяснял, что после выпивки внутри человека образуются некие алколоиды. И, если немедленно не добавить, они начнут расщепляться и грызть тебя изнутри.

Очнувшись в девять утра, я убедился в его правоте. Расщепившиеся за ночь алколоиды бушевали в голове, покусывали желудок, щекотали гортань, высушивали нёбо и вообще всячески шлохотничали, требуя залить их сверху новой порцией спиртного. Отказа не принимали. Да я и не отказывал. Было бы чем.

В джинсах и стоптанных сандалиях на босу ногу поволокся я к выходу из сонного лагеря – опыт подсказывал, что раз построили молодежный центр, значит, поблизости непременно должны были открыть винный магазин.

Он оказался даже ближе, чем можно было надеяться. Прямо напротив лагерных ворот, с другой стороны дороги, стояла дощатая продуктовая палатка с оплетенным металлическими прутьями окошком. А за ним на витрине угадывались пузатые «бомбы» «Агдама», бутылочки портвешка и «Ркацители». О миг желанный! В нетерпении я припустил к палатке. Увы мне! Окошко оказалось наглухо задраено. И ни души. Пустынный асфальт серпантинном извивался вдоль безлюдных предгорий.

Оголодавшие, обманутые алколоиды взвыли и с новой силой принялись скрестись изнутри. От безысходности я забарабанил по окошку. Уже готов был хватить булыжником по стеклу и протиснуть руку меж прутьями. Скорее всего, после этого пришлось бы сменить лагерь – молодёжный на исправительно-трудовой. Но судьба не допустила до крайности – внутри послышался шорох. Окошко открылось. Обнадеженный, я сунулся носом вперед

и – отпрянул. Из палатки на меня внимательно смотрела конопатая, окаймленная жесткими рыжими волосами русая физиономия с бульбой посреди широкого лица.

– Ты еще здесь откуда? – бестактно брякнул я. Обладатель огненной шевелюры задумчиво порылся пальцем в широкой, будто артериальная скважина, ноздре и неспешно, с чудовищным армянским акцентом произнес:

– Зачѐм колотишь, дарагой? Стучаться надо, да?

Я даже привстал на цыпочки, пытаясь разглядеть за его спиной спрятавшегося кавказца. Но нет – никого больше не было.

– В смысле, ты кто? – поправился я, тоже, впрочем, невразумительно.

– А ты кто? – резонно отреагировал незнакомец. Вгляделся повнимательней и вдруг зацокал: – Новенький, да? Русский, да? Выпить хочешь, да? Помогу, слушай! Как хорошему человеку не помочь? – Он растекся в неотразимой улыбке.

Я тотчас оттаял – передо мной была родная, истинно русская сострадающая душа. Так я познакомился с Сашкой Саркисянцем. В Армению Сашка попал ребенком, во время войны. Разбомбили поезд с беженцами. Плачущего среди трупов младенца подобрала армянская семья. Документов при нем не было. Твердо знал малыш лишь своё имя: Саска. Так и остался Сашкой. Но уже Саркисянцем. К моменту нашего знакомства Сашке исполнилось тридцать пять. За все эти годы из Армении не выезжал. Да и за пределы Еревана выбирался нечасто. Жил в доме приемной матери, холившей его и любившей. Впрочем, Сашку, как я вскоре убедился, любили все. Среди приятелей-армян слыл он за человека доброго и веселого, но со странностями. Быть может, странность его виделась армянам в чрезмерной открытости. (У нас это называется рубаха-парень). А быть может, в том, что он всегда был доволен тем, что имел, и не жаждал большего. Отказался, например, от доходного места в большом универмаге, что выхлопотали для него.

– Зачем оно, слушай? – оправдывался он перед ходатаями.

– В палатке я сам по себе начальник. Друзья заходят, есть где угостить. А что там? Ни воздуха, ни посидеть.

– Там другие деньги, – подсказывали Сашке.

– Э-э! Что деньги? – Сашка презрительно рубил рукой воздух.

Ему нравилось, что вокруг люди. Редкий случай, когда, забежав в подсобку, я не застал там двух-трех горбоносых южан, что-то степенно обсуждавших за бутылочкой «Кахетинского». И меж ними, смуглыми, небритыми, огненный Сашка – самый шумный, самый гортанный. Будто шальной ветер занес семя одуванчика на садовую клумбу, и проросло оно незаконным желтым цветом меж черными тюльпанами.

Иногда, правда, оказывался Сашка в палатке в одиночестве. Тогда он всеми силами старался заманить меня внутрь, набулькивал стакашек портвешка.

– Не торопиться, нет? Посиди, слушай. Расскажи о России, – заискивающе просил он. – О чем именно?

– Вообще.

Его интересовало всё. Климат, люди, как живут, сколько получают... Я рассказывал. Сашка слушал, прицокивая. Глаза его горели детским любопытством и – неизбывной тоской.

– Россия! – то и дело мечтательно причмокивал он. – Какая жизнь могла быть! Моя жизнь!

– Господи, Сашка! – взрывался я. – О чем ты? На самом деле вы здесь на порядок лучше живете. На порядок! Ты хоть знаешь, что такое давиться в очередях за говяжьими костями? А что делается в колхозах Нечерноземья, рассказать? Как раз только побывал.

Я принимался делиться наболевшим. Сашка мрачнел всё больше. Наконец вскипал:

– Как можешь так говорить? Ты что, турок какой? Это ж Родина. О ней, как о матери, нельзя плохо!

И мне отчего-то делалось стыдно.

– У вас, наверное, снег.

– Какой снег? Окстись. Начало октября! Листопад.

– Листопад! – мечтательно тянул Сашка.

– А здесь что, листопада не бывает?

– Здесь другой. Не русский.

На глаза его наворачивались крупные слезы.

– Да в чем проблема, Сашка?! – не выдерживал я. – Съезди наконец в Россию. Сам всё своими глазами посмотри.

– Съезжу, да, – Сашка сразу стихал. – Вот соберусь как-нибудь и съезжу.

– Долго собираться, никогда не выехать! Нечего волынку тянуть. Вместе и поехали. У меня еще неделя отпуска останется. Москву покажу, Волгу.

Я уже представлял, как буду хвастать колоритным Сашкой перед приятелями.

– Или – слабо?

– Да. Надо, надо, – Сашка тушевался. – Но – стыдно, слушай. Как поеду?

– Что стыдно?! Кого? – загорячился я.

Но, поостыв, понял. Сашка обречен был оставаться чужим среди своих и своим среди чужих. Среди приютивших и вырастивших его армян выделялся экзотической внешностью. В России вызывал бы хохот жутким, несовместимым с бульбой акцентом. И эта ситуация мучила болезненно стеснительного Сашку.

– Чего не женился до сих пор? – переводил я разговор.

– О! Это-то, – Сашка по-армянски закатывал глаза. – Не случилось, слушай. Армянин женится на армянке. Еврей на еврейке. Русский на русской должен, да? Вот съезжу на Родину. Может, там найду.

Как-то с очередного похмелья мы сбросились, у кого что осталось, и меня делегировали к Сашке. Палатка по обыкновению была закрыта. Я привычно обошел ее сзади и условным стуком постучал в дверь. В подсобке, на поставленных на попа ящиках сидели два щетинистых, остролицых армянина. Меж ними на цементном полу стояла початая бутылка «Алиготе».

– Понимаешь! Сын у него родился, – протягивая мне три «бомбы», Сашка кивнул на одного из гостей.

Должно быть, черт меня дернул. Я раскупорил одну из купленных бутылок, разлил портвейн по стаканам. Подражая Сашке, провозгласил:

– За твоего наследника, дарагой!

...И я пропал. Искать начали через час. Остервеневшие собутыльники колотились в запертую палатку, но так и вернулись ни с чем, матеря меня нещадно. Обеспокоились позже, когда не явился к ужину. Наутро, отсчитав сутки с момента исчезновения, сообщили в милицию. Приехала опергруппа. Опрашивали, суетились. Говорят, даже собаку по следу пускали. К концу дня за меня стали пить не чокаясь.

Разыскал пропажу толстый черноусый участковый, знавший в округе всех и всё про всех. Он сопоставил исчезновение отдыхающего с пустующей палаткой. И пошел по дворам, где праздновалось какое-нибудь событие. За третьим по счету праздничным столом обнаружился бодрый тамада Сашка. Рядом, на одеяльце, под грушей, лежал я. Совершенно ослепший, поскольку при каждом новом тосте гостеприимный хозяин приподнимал мою голову и – вливал. Впервые в жизни появление участкового я воспринял как избавление. Отдыхающие в лагерях и на турбазах подобны бабочке-однодневке, жизнь которой отмерена от рассвета до заката. На отдыхе всё свершается с иной скоростью, чем в повседневной жизни. То, что там тянется месяцами, годами, десятилетиями, здесь вмещается в дни и часы. И каждый день и час перенасыщен страстями и событиями. Влюбляются, ревнуют, изменяют, страдают

от измен, утешаются с другими, наконец, едва прикипев друг к другу, расстаются. И хоть дата окончания смены известна заранее, подступает она всегда неожиданно.

О предстоящем отъезде я сообщил Сашке за сутки. Веселые глаза его притухли. Но тут же вспыхнули свежим азартом.

– Надо, слушай, отвальную! – с гордостью выговорил он заковыристое словцо. – Или мы не русские? Поедем на рынок. Так, да? Отберем баклажан там, зелень, прочее всякое. Сам выберу, чужому доверять нельзя. Мясо особенно! Замочу! Знаю, как надо.

– Чего тут знать? В уксусе!

– Уксус?! – Сашка оскорбился. – Глупый ты человек! Баран просто, а не человек. Уксус – смерть шашлыку. В вине. Но – тоже не всякое. Знаю какое. Сам и дерево под уголь подготовлю. Негодное дерево – всё насмарку.

Я вновь прошелся с шапкой по кругу. И после обеда мы с Сашкой сели на рейсовый автобус и поехали с гор в долину – на Ереванский рынок. Маленький ПАЗик лениво пылил по дороге. Остановок он, похоже, не ведал. Просто притормаживал, когда кто-то поднимал руку. Входящий непременно здоровался со всеми, перекидывался несколькими фразами с Сашкой. Здесь его знали все. Выходящие обязательно прощались.

Сидевший на заднем сиденье старик вдруг что-то прокричал. Водитель остановил автобус. Старик вышел. Он уже скрылся за домами, а автобус продолжал стоять. Через пять минут я потерял Сашку за рукав:

– Чего стоим?

– А! Пошел племянника поздравить с сорокалетием. Скоро вернется. Ничего. Отдыхай, слушай!

Вернулся ушедший еще через десять минут, вновь громко прокричал, – похоже, передал привет водителю, – и автобусик покандыбал себе дальше. За всё это время никто не выказал нетерпения. Кроме, понятно, меня.

Деньги за проезд, как я заметил, кидали на козлах рядом с водителем. Там же катался куций рулончик из билетов. При выходе я хотел оторвать два на память. Но Сашка успел ухватить меня за рукав и удержать от бестактности:

– Обидишь, слушай!

Ереванский рынок благоухал запахами и рокотал разноголосьем. Войдя в центральные ворота, Сашка преобразился. Дотоле мягкий и неспешный, он вдруг сделался нетерпелив и скандален. Его привизгивающий фальцет напрочь забивал низкие голоса торговцев. Надо было видеть, как он покупал. Перебирал зелень, потирал ее, подносил к носу, принюхивался, хмурясь, отбрасывал и хватался за следующий пучок. Услышав цену, громко, презрительно ухажатывался, взбрасывал руку: «Э-э!» – собираясь отойти. Продавец удерживал Сашку и предлагал назвать свою цену. Сашка нехотя называл. Теперь уже продавец произносил: «Э-э!» – И всё начиналось сначала. Горячий спор шел на копейки. Я хотел вмешаться, но вовремя уловил главное: оба – и продавец, и покупатель – наслаждались процессом. Наконец они ударили по рукам и расстались, преисполненные уважения друг к другу.

– Теперь мясо, баклажаны! Потом гранат не забыть, – азартно объявил Сашка. Через три часа я, оглушенный и безразличный ко всему, едва передвигал ноги. Сашка же оставался светел, бодр и лучезарен. С рынка уходил неохотно.

На другой вечер вся наша сдружившаяся команда собралась в отдаленном углу лагерного сада, где уже вовсю трудился Сашка.

У раскидистой яблони догорал костерок. На длинной скамейке рядком стояли благоухающие, прикрытые крышками металлические миски. На подносе грудилась стопка армянских лавашей – тонких, как блины, пахнущих свежей коркой.

Все расселись вокруг костра и, истекая слюной, нетерпеливо поглядывали на священнодействующего Сашку. К шампурам он никого не подпускал. Сам нанизывал мясо, пере-

межая кружками помидоров и ломтиками лука. Работал ловко – сразу с двумя мангалами, так что шашлыки запекались в очередь, один за другим. Огненная Сашкина шевелюра то и дело вспыхивала в отблесках костра. Подвижный как ртуть, он был подобен свершающему обряд колдуну. Да он и был в эти минуты колдуном. Колдуном – укротителем шашлыка.

Ах, что это был за ужин! Ты брал лаваш, ложкой накладывал внутрь чесночно-баклажанную смесь, скручивал его в горячую трубочку, из бутылки, зажатой меж ног, отпивал добрый глоток вина, в правую руку хватал сочащийся, дышащий костром кусок мяса, откусывал пропитанный специями лаваш и вгрызался зубами в шашлык – сочнее и вкуснее, чем из всех пробованных мною прежде.

Вечерний прохладный сад, в отдалении – сквозь ветви деревьев – шум и огни гуляющего корпуса, и мы, насытившиеся, пьяноватые, все – влюбленные и грустные оттого, что очередная сказка заканчивается, и завтра грянет расставание друг с другом и с полюбившейся Арменией.

И самый шумный и оживленный среди нас – Сашка, успевавший тостовать и задирается к девушкам. Только оказавшись с ним бок о бок, я разглядел в глазах тоску, как, должно быть, у эмигранта, провожающего в порту очередной корабль с далекой Родины, на которой никогда не бывал. И тогда я поднял стакан и, стараясь подражать визгливо-гортанному Сашкиному голосу, произнес тост за того, кто расцветил наш отдых, за того, кого каждый из нас будет рад видеть гостем в своем доме. Сашкино смеющееся лицо вдруг исказило судорогой. Пытаясь сдержать плач, он быстро заморгал белесыми ресницами, даже обхватил ладонью рот, но – не сдержался и зарыдал.

Я записал ему свой адрес и все контактные телефоны и в десятый раз потребовал клятвенного обещания приехать. Сашка, утирая слезы, поклялся. Он не приехал и не позвонил. Чего и следовало ожидать. Через много лет, в конце восьмидесятых, я вновь попал в Ереван и попросил отвезти меня к ММЛ. Мне не терпелось повидать Сашку.

Палатки напротив входа больше не было. На ее месте выстроили типовой застекленный магазинчик «Товары повседневного спроса». Молоденькие продавщицы из равнинной части Еревана на мои расспросы недоуменно пожимали плечами. Помог пожилой покупатель – небритый облысевший армянин, в котором я не сразу признал того самого отца новорожденного, в доме которого мы с Сашкой сутки гуляли. От него я узнал, что все эти годы Сашка безвыездно прожил в материнском доме. Приемная мать дважды пыталась его женить на дочерях соседей, но он всё как-то изворачивался. А женился уже после ее смерти – на какой-то русской женщине с ребенком («И куда смотрел? – армянин огорченно зацокал. – «Профура» настоящая. С первого взгляда видно. Все видели. Он один не видел»). Она, сама пьющая, приучила Сашку к водке, и за два года до моего появления зимой они оба, перепившись, угорели в своем доме.

– Плохо он с ней жил, – припомнил армянин. – Говорили – бросай, какая она жена? Говорил – брошу. Потом опять говорил – как брошу? На кого?.. И пить столько разве можно? Да, хороший был человек. Но – что поделаешь? Русский. Это не исправишь. Гены! – армянин важно потряс узловатым пальцем.

На своей исторической Родине Сашка Саркисянц так и не побывал.

Обиды эдуарда никитина

Обида первая, природоохранная

Обида первая начала зреть в тот апрельский день, когда Эдуард Никитин, тогда ещё студент филфака, открыл ногой дверь деканата и изложил ошеломленному декану свои взгляды на блат вообще и блат за мзду, в частности.

На комсомольском собрании, назначенном вслед за этим, готовился прилюдно подтвердить сказанное в запале. Но повестка дня, вывешенная за полчаса до начала собрания, изумила его несказанно. А именно: бытовое разложение старосты курса Никитина, заключавшееся в сожительстве со студенткой иныза девицей Белошейкиной.

На собрании однокурсники, отводя глаза, дали принципиальную оценку недопустимому поведению своего товарища. Впрочем, выражения использовались вполне аккуратные, поскольку слыл Никитин человеком невоздержанным в словах и в поступках и любил в нетрезвую минуту взойти в свою комнату, что на третьем этаже общежития, по водосточной трубе.

Невоздержанность свою Никитин продемонстрировал тут же. Торжественно, на глазах у всех, достал студенческий и комсомольский билеты и пришилил вроде погон на плечи посеревавшему комсorghу. После чего в общежитии разыскал девицу Белошейкину, поинтересовался насчет претензий. Единственную претензию удовлетворил тут же и отбыл на родину – в славный районный городишко Ржев – уже Эдуардом Михайловичем Никитиным.

Дома поначалу задиковал, запил горькую. Даже поколотил гульбливого своего отчима, швырнувшего в мать поленом. И предупредил, что, если тот еще раз поднимет руку выше, чем на высоту поднесённого ко рту стакана, руку эту он ему отобьёт. Этой высоты пьянчужке-отчиму хватало. И в доме восстановился мир. Через пару недель просох Эдуард Михайлович, осмотрелся и принялся осваиваться в новой жизни.

Поступил на мехзавод. Думал, всерьез. Получилось ненадолго. После смены застал в цехе одного, когда тот детали по карманам расфасовывал. И, как за Никитиным в таких случаях водилось, провёл разъяснительную работу. Со смещением челюсти включительно. Недаром еще в школе о нём слава среди пацанов гремела самая подзаборная.

Собрали, как водится, коллектив. Никитин начал было объясняться, но увидел: знают. Все всё знают. За то и бьют. А раз бьют, скрепи зубы и не скули. Чему бы хорошему, а этому паскуда отчим в детстве обучил. Так и покинул завод, не объяснившись. Единственно – харкнул на проходной.

Поступил в районную газету – всё-таки незаконченное филологическое. Поначалу понравилось. И он понравился. Главный редактор под опеку взял. На планёрках нахваливал. Сулил славу матёрого газетчика. И было за что. От командировок не отлынивал – год, почитай, из района не вылезал. Да и перо оказалось злое, въедливое. Чересчур даже въедливое. Раскопал факты приписок командировочных в горкоме комсомола. Уезжал комсомолец на один день (утро – вечер), а по отчётам в бухгалтерии, как на гражданскую войну уходил. У иных стахановцев за месяц по сорок пять суток набиралось. Едва не грянул скандал на всю область. Хорошо главный редактор успел в последнюю минуту снять статью с набора. А самого автора подправил выговором. Пустяшным, в сущности. Даже без занесения. Но больно обидчив оказался молодой корреспондент – положил заявление об уходе. Главный редактор попытался отговорить: де, не оббившись, матерым газетчиком не ста-

нешь. Но Никитин лишь усмехнулся криво, харкнул на порог и с тех пор при слове «социалистическая пресса» аллергически подергивался.

Через два месяца новую вакансию предложили – заместителя председателя районного общества по охране природы.

Сходил, пригляделся, с председателем познакомился: забавный дедок, бывший моряк-фронтовик, моторку пообещал.

Пораскинул мозгами Эдуард Михайлович и – пошел на новое поприще. Что-что, а к природе относился трепетно. И вроде легла новая должность на его характер один к одному. Носился он на подсгнившей своей моторке по Верхневолжью и – пел. Во всю свою неслабую глотку. Отчаянно, конечно, привирая мотив. Но зато души и восторга на оба берега хватало. И новая по городу слава прокатилась: крепкий мужик на хорошее дело посажен. Блюдет закон! Да и дед-председатель проникся. Вместо себя на областное совещание передовиков послал. На совещание Эдуард Михайлович заскочил мимоходом, думал, к своим бывшим однокурсникам в гости поспеть. Но посидел, послушал, да и взял слово. Накопилось у него злобы на одного хозяйственника, что полреки загадил. И оказалось – в жилу. Того как раз собирались снимать, повод подбирали. В общем, поблагодарили за бдительность.

Председатель после этого и вовсе в заместителе своём души не зачал. Даже насчет рекомендации в партию подступаться начал.

– Мы, говорил, старики, уходим. Мне что, я тёртый, за мать нашу природу кому хошь глотку порву, потому что нечего мне уже бояться после трех фронтовых ранений, контузии и ста рублёв пенсии. Об одном болею: не вижу в молодежи нашей твердости, умения в землю вгрызться и не отступать, когда начальство прёт буром. А в тебе всё это есть, и потому держу на те бя на дёж у.

И хоть не очень понял Эдуард Михайлович, почему при приближении начальства надлежит немедленно окапываться, о новом своем месте в жизни стал задумываться всерьез и перспективно.

Через короткое время недалеко от города затеяли возводить комбинат, а под строительство, естественно, начали карьер готовить. И местом для карьера определили лобастый, обросший, как дикобраз, кусок берега в восьми километрах от города.

Первым Никитину эту новость отчим сообщил: этот про всякую гадость узнавал за пять минут до того, как она случится. Сгреб Эдуард Михайлович деда-председателя в охапку и вместе с ним зашагал по инстанциям: место-то заповедное, а всего километров десять в сторону ничуть не хуже есть. Копай себе без ущерба для ландшафта. Разве что возить подальше. Районные инстанции обнадежили: понимаем, осознаём. Но пассаран! Документация не пройдет. И впрямь не подписали согласования.

Дедок-председатель даже посетовал на легкость, с какой победа досталась:

– Жаль, не подпустили супостатов на дистанцию кабельтова. Видать, знают руку старого дальнобойщика.

Но у стройки той пароль оказался союзного значения. Вьюгой круговерть завернулась, и опять задуло на город – уже с севера, со стороны областного центра. И остыли отцы города: жаль, конечно, но плетью обуха не перешибешь. С этим дед-председатель прибежал к Никитину:

– Слышь, Эдуард, вызывали. Говорят, немасштабно мыслим. Подписать предлагают.

– Ну, и?

– Так я чего? Намертво, на якоре. Не признался я им. Как думаешь, выстоим? Уж больно напористы. Если только изловчиться схитрить. Да, жаль природу.

– Можно и схитрить, – согласился Никитин. – И диспозиция в свете этой хитрости будет такая: собирай-ка, дед, манатки и катись в отпуск.

– Это куда-й-то?

– Да хоть по местам боевой славы. Давно ж мечтал.

– Больно обидчив ты, Эдуард, – дед насупился. – Слова уж не скажи. Сразу в амбицию. А ведь не так ты меня понял.

Но, видно, понял он деда все-таки правильно, потому что в двадцать четыре часа отбыл председатель общества охраны природы в неизвестном направлении. Даже печать для надёжности прихватил.

И остался Эдуард Михайлович Никитин один, и не то чтоб на кабельтов, а на прямую, можно сказать, наводку. Две недели через день в область гонял, в высокие кабинеты пробивался, с комиссиями на место выезжал. Когда почувствовал, что поддержки во власти не найдет, принялся ржевитян на демонстрацию протеста поднимать. Посты из ветеранов по берегу реки расставил с твердым наказом: если что, то чтоб как в сорок втором, на ржевском «пятаке», – насмерть.

Да и сам к демонстрации этой готовился как к последнему бою. Даже единственную белую рубаху подкрахмалил.

И вдруг всё разом стихло: не вызывали, не грозили, не приглашали на согласования. Похоже, откатилась вражья сила. Не по зубам орешек оказался.

В эдаком феерическом настроении наладил Никитин старую свою лодчонку и отправился в круг почета по отвоеванным землям.

...В восьми километрах от города кодла зубастых экскаваторов подрывала заповедный берег. Всё захлестнуло в нём ненавистью: ну, ведь гады хуже фашистов. Не мытьем так катаньем. Перед фактом решили поставить. Закон преступили. Так и заполучите скандалчик!

Моторку носом в берег, сам в прорабскую и первого же попавшегося за грудки – на предмет прогуляться к прокурору. Тут-то и предъявили ему протокол согласований, на котором среди прочих красовалась кудрявая подпись председателя общества охраны природы.

– И кто ж из вас подделывал? – Никитин обвел хмурым взглядом перетрусивших строителей.

– Обижаешь. Твой шеф подписал. Не веришь, убедись. Что ж мы, по-твоему, совсем уж мародеры?

С ехидцей вроде сказали, но и с опаской: за эти месяцы от крутого Никитинского нрава натерпелись. Но опасались зря – то, что не врут, Никитин понял тотчас.

– Эх, мужики, – посетовал он. – Чего зубы скалите? Кого победили? Это ж как в собственной спальне кучу накласть. Живете временщиками...

Постоял перед снующими тараканами-экскаваторами: будто по живому режут, твари зубастые. «Щас бы связку гранат, кажется, сам бы под экскаватор бросился». С тем и ушел.

Дед-председатель, точно, дома оказался:

– Эдуард! Вот уж желанный гость. Весь город о твоих подвигах гремит.

– Чего вернулся?

– Дак это... в гостях хорошо, а дома лучше. Разволновался. За судьбу дела. – А зачем подписал?

– Кто?! Зачем, зачем... Надо, стало быть. Тебя, дурака, своей подписью от тюрьмы спасал: не давала еще тебе жизнь, видать, по мордасам. Вот и прешь буром! Людей на антисоветскую, считай, демонстрацию додумался подбивать. Да за это, знаешь! Хорошо, я поспел. А насчёт стройки – большие люди подключились, не нам с тобой чета. Мне тут объяснили кой-чего стратегическое, чего тебе неизвестно. Может, я мелкой уступкой большое дело спас. А ты и впрямь... Хвалю. И рекомендацию в партию дам без колебаний. Хоть кое-кто и начал насчет тебя намекать, но я им твердо сказал...

– Эх, дед, – Никитин поднялся. – О Боге думать пора. О том, что после тебя останется. А ты всё смердишь.

– Ну, тебя, сопляка, не спросили. Эва куда! С ним еще как по-человечески. Плюнул Эдуард Михайлович, по некультурному своему обыкновению, на дедов порог. С тем и отбыл с государственной службы. Два дня у матери белый просидел, зубов не разжимал. Да еще отчим, подлюга, подзуживал:

– Что, Эдуард, постоял за правду-то? Вона как ее сейчас механизмами подсекают. Нет уж, хочешь прожить без проблем, не высовывайся. Себе целее. Может, сгонять?

Приходили с утешениями. Так зубов и не разжал. Уж на исходе третьего дня, когда мать мимо тенью прошмыгнуть собралась, остановил ее:

– Слушай, матушка, ты зачем мне в детстве врала, будто жить по правде нужно? Или правда моя кособокая? Куда ни ткнусь, поперёк оказываюсь.

– Да я и сама понимать перестала, – тяжело призналась мать. Она опасливо положила ладонь на буйные вихры сына. – Бог с тобой, сынок, живи, как все. Оно и мне спокойней будет.

А чего тут еще скажешь?

– Вот и славненько, – согласился сын. – Сколько можно в городских сумасшедших ходить. Пойду-ка погоняю шабашку. Хоть прибарахлимся с тобой.

И случился с тех пор Эдуард Никитин бригадиром шабашников. Но это уже обида номер два.

Обида вторая, шабашная

...И случился с тех пор Эдуард Михайлович Никитин бригадиром шабашников. А что? Голова, если без закидонов, вполне светлая, руки в обе стороны вертятся, в строительстве и раньше смыслил, а поработав пару лет, освоил досконально. Но главное умение – организовать процесс. Это просто на зависть. Такие договора «срубал», такой стройдефицит выуживал, что даже «бугристые» шабаши ахали.

И новая слава пошла про Никитина: чудила чудилой, но-о! Вот бы к кому попасть. Тяжело, однако, – конкурс. Да и не каждый выдерживал. Бригаду свою с апреля по ноябрь гонял по двенадцать – четырнадцать часов. Само собой, без грамма. За пьянку вышибал без обсуждений и без материальных компенсаций. Сам, если где прорыв, не разгибался вместе с остальными. К декабрю раздавал заработанные «куски»:

– Держите, обломы! И чтоб до весны поганых ваших рож не видел!

Покупал себе нового пыжика и – гулевал так, что Ржев дрожал. На радость отчиму, на горе матери.

Ближе к концу февраля «шабаши» вставали на низкий старт. Под окнами принимались мелькать флагманы, прислушивались, приглядывались. Шепоток по Ржеву пускали:

– Говорят, пыжика загнал. Стало быть, выхаживается. Вот-вот шабашку затрубит. Так не один год продолжалось.

– Сдохнешь ведь от такой жизни, – глядя на почерневшего к весне сына, в бессильной тоске стонала мать.

– Может, и к лучшему, – не спорил тот.

И тут, глянь, женился. Вроде по дури, походя, только что не со скуки, но удача не отвернулась, в яблочко попал. Сама Нинка крупная, добрая, покладистая. Через год сына родила. И впервые пыжиковая шапка до весны дотянула, – как-то сама собой пресеклась пьянка.

На противоположном крутом берегу Волги, среди деревянных построек, купил развалюху с двадцатью пятью сотками. Развалюху снес и на ее месте по собственному проекту принялся возводить кирпичный дом. Под узорчатый терем, как когда-то пацаном мечтал. Те же шабашники на бригадиров дом ходили как на субботники. Нинка, жена, всю огород

обихаживала. Даже сын, малолетний Михрютка, помогал – то за матерью с лейкой топал, то возле отца отирался – шурупы подавал.

Правда, соседи, по слухам, с брачком попались. Будто бы всю округу ябедами изгадили. А главное, зоркие: доподлинно установили, что плетень на метр заходит на их территорию. О чём Эдуарду Михайловичу и сообщили. Будто бы и заявление уже куда надо подготовили.

Никитин, он что? Само миролюбие. Не ссориться же из-за ерунды. Зашел в дом, вынес карабин-«вертикалку», зарядил дробью, подошел к плетню да и пальнул в какого-то одичалого пса, забежавшего погреться на соседский участок. Как раз в метре от копавшихся в грядках соседей. Между делом пальнул. Мимо, конечно. Больше чтоб ствол не ржавел. И как-то насчет плетня забылось.

Правда, еще через пару недель жене Нинке было сделано замечание, что сухие ветки в саду жгут, с риском для соседних строений. Можно и поприжать через пожарные инстанции.

Опять же не стал Эдуард Михайлович в споры вступать. Обмотал паклей палку, сунул в керосин, поджёг – дело было к ночи, а фонари на улицах, как всегда, побили, – перелез через плетень и отправился к соседям, погостевать, познакомиться поближе. Все пристройки с факелом добросовестно обошел, во все углы заглянул. Расстроился увиденным, – слов нет!

– Сомневаюсь, говорит, в противопожарном отношении. Домишко деревянный, ветхий, и, случись искра, не безупречный. Очень я за вас опасаюсь, как бы беды не вышло. Так что если загоритесь, кричите громче: авось успею кого из огня вытащить.

По-доброму ободрил, по-соседски.

На этом как-то всё и закончилось. Не было больше меж ними ни ссор, ни конфликтов каких. Очень даже милые люди оказались. И чего только злые языки не наболтают!

Хорошо зажил Никитин, по своей правде: дом над Волгой, лодка у берега, «Жигуль» в гараже, жена ласковая, сынишка-бутуз у ног крутится, перенимает. Сам себе хозяин. А главное – от властей отгородился. Наоборот, власти, когда уж очень припечет, на поклон прибегают. Отрапортуют, например, досрочно о сдаче социального объекта, премии «срубить», а у самих нулевой цикл не прикрыт, – дорожка протоптанная, к Никитину. А он, покочევряжившись, срывал бригаду и бросал на прорыв.

Заламывал, правда, крохобор. Но все равно на круг выгодней выходило, чем своим халтурщикам по три раза за одну работу переплачивать. Сам же Никитин, сдав городу очередную «горящую» точку, уплывал на островок посреди реки, сидел там часами, глядя на бурлящую меж камней воду, и о чем-то тяжело молчал.

Уговаривали на стройку прорабом – с твоим-то организаторским талантом вмиг в начальники строительства поднимешься. Особенно жена подзуживала – Михрютке скоро в школу. Что ж ему биографию с отца-шабашника начинать? А если по трудовой книжке начальник, и сыну среди одноклассников совсем другое уважение.

Но слишком хорошо знал Эдуард Михайлович, как на стройках зарплата выводится. А потому, хоть и с сожалением, но был дуре-бабе дан ответ: лучше свободный шабашник, чем конвоируемый передовик. А насчет уважения, я в городе и так фигура.

– Фигура! Пока не загребли, – ворчала добрая жена.

Через год и сам сынишка заявился с претензиями: в школе кто-то обозвал его сыном куркуля. Нахмурился Эдуард Михайлович, посадил сына в «Жигуль» и повез по району.

Возле какой-нибудь фермы, коровника выходил: «Как, ребята, не порушилось здание?» – «Спасибо, Михалыч, стоит как влитое. Вовек благодарны». По городу прокатил. Напоследок возле школы остановился.

– Тоже ты? – догадался счастливый Михрютка.

– Понял теперь? – растрогался Никитин. – Это и есть мой след на земле. За что люди, которые понимают, и уважают. А на насмешки, что от зависти да подлости, бей в лоб – надёжней усвоят.

Через три дня случилось невиданное – у задней калитки остановилась черная «Волга», из которой вышел сам председатель горисполкома товарищ Бадайчев.

Эдик как раз баньку заканчивал штукатурить. Так аж чертыхнулся в досаде, жаль, ни Михрютки, ни Нинки в доме, то-то бы языки прикусили. Впрочем, острые мордочки соседей из-за плетня выглядывали.

– На себя кольцо! – смывая в бачке руки, крикнул Никитин. С председателем горисполкома прежде доводилось ему видаться три-четыре раза. Впечатление на Эдуарда произвел мужика деятельного, толкового. Слышал, что инициатива пригласить его в прорабы тоже исходила вроде как от председателя горисполкома. Правда, до личного общения не снизошёл – к шабашникам, как все знали, пред относился брезгливо, как к наросту на теле общества. То, что сейчас появился лично, могло означать лишь одно: случилось что-то чрезвычайное.

Пред открыл калитку и замешкался. Накануне прошел ливень. Потоки воды смыли с дорожки песок, обнажив склизкую глину. Потоптался Бадайчев, давая хозяину время подойти. Но тот, прищурившись, поджидал возле крыльца. Пришлось самому топтать по грязи.

– Ну, здравствуй, король шабашки! – поздоровался Бадайчев. Огляделся, осваиваясь. При виде стилизованного под терем дома губа его оттопырилась.

– Наслышан про сей шедевр, – протянул он. – Ловко, гляжу, устроился. Палаты белокаменные, розы-мимозы. Прямо персональный коммунизм. Будто нет за оградой ни бедности, ни разрухи.

– Как не быть, пока вы есть, – Никитин незамедлительно выпустил колючки наружу.

Пред, непривычный к подобному укороту, предостерегающе свел брови.

– Это ты о ком так?

– Да о вас обо всех. – Не было в Никитине заднего хода. Природа, создавая, не предусмотрела.

Бадайчев побагровел:

– Эва куда тебя вынесло! Уж и власть не власть. Развели прилипал!

– Это я-то прилипала?! – Никитин ткнул Бадайчеву едва не в физиономию бугристые свои ладони. – А ты подсчитал, сколько нас таких, шабашников, по Союзу? И сколько возводим. Одна моя бригада за сезон то сделает, что колхоз за пятилетку не осилит. О качестве уж не говорю.

– Положим, не задаром. Деньги получать не забывал.

– Это ты получаешь! А я зарабатываю.

– Зарабатываешь! А потом с тем же председателем делишься. Всех вокруг развращаешь!

– Да не я, а ты! – огрызнулся Никитин. – Я что, от полноты души ему даю? А может, потому что иначе подряда не будет? И если ты государственным мужем быть претендуешь, так избавь меня от этого. Дай умный закон, обзови нас какими-нибудь кооператорами, помоги со снабжением. Думай, короче, как работяг, вроде меня, с умом использовать, а не болтай до одури о перестройке. Вместо того, чтоб желваками играть, лучше прикинь, сколько одна моя бригада государству твоему сэкономила.

– Моему?!

– А мне оно без надобности. Я сам по себе.

За плетнембрякнули. Подкравшийся отчим подслушивал, сидя на корточках.

Оба – и хозяин, и гость – вдруг опамятавали. Представили, как выглядят со стороны. Усмехнулись, не сговариваясь.

– Верно говорят, невозможный у тебя характер, Никитин, – примирительно сказал Бадайчев.

– А я со своим характером не набиваюсь, – рубанул, всё ещё в горячке, Эдик. – Говори, с чем пришел. Если б загнობить хотел, холуев бы своих из милиции подогнал. А раз сам, значит, что-то всерьёз?

– Всерьёз, – признал Бадайчев. – Через две недели открываем лекторский центр по пропаганде основ марксизма-ленинизма.

– Эва!

– Первый по области. Открытие запланировано на седьмое ноября, сразу после демонстрации.

– И?..

– Трубы прорвало. Подвал залило.

– В первый раз, что ли?

– Торжественное открытие. Специально приурочено к юбилею Октябрьской революции. Из Калинина много народу подъедет. Из Москвы тоже – замминистра, телевидение. Под моё слово едут... Подставили, сволочи! – с ненавистью рявкнул Бадайчев. – Только щёки надувать сильны! А по факту – бракоделы! Совсем рабочий человек перевёлся. А там... виртуозы нужны. Мало что ремонт. Филигранная отделка требуется. Чтoб без швов.

Непонятное молчание хозяина Бадайчеву не понравилось.

– Запросы твои знаю. Фонды выделим. Лично прослежу, – успокоил он.

– Не знаешь, – Никитин мотнул вихрастой головой. – Хочу на ноябрьской демонстрации на трибуну.

– Чего?!

– На трибуну! – упрямо повторил Никитин.

– Трибуна для вождей и передовиков, – жёстко напомнил председатель горисполкома.

– А я он и есть – передовик. И хочу, чтоб все это знали.

– Ты не передовик! Ты для всех был, есть и будешь – шабашник! – Бадайчев набылся. – И если я тебя на трибуну запущу, знаешь, что говорить станут?

– Это моё условие.

– Две цены.

– Трибуна или ищи другого! – непререкаемо закончил разговор Никитин.

Бадайчев, загнанный в угол, аж рыкнул от злости.

– Ладно! Будет тебе трибуна, – выдавил он через силу.

– Слово?

– Сказал же!

– А пропуск?

– Сделаешь, получишь прямо у входа. Передам в оцепление. Не попрощавшись, круто развернулся и, не разбирая дороги, прямо по глине зашлёпал к калитке.

Замаявший в засаде отчим подбежал, разминая затекшие ноги.

– Слышь, Эдка! Соображай, чего удумал. Соглашайся деньгами, пока не поздно. Хошь, догоню?

Под тяжелым взглядом пасынка бессильно отступился.

– Да! Будет дело под Полтавой!

На ноябрьскую демонстрацию погода выдалась отменная, как по заказу. Колонны шли нарядные, весёлые, с шарами да транспарантами. С песнями и плясками на тротуаре. Шёл в кои веки и Эдуард Никитин. Непривычно нарядный, в костюме-«тройке» и той самой накрахмаленной рубаше. С женой, Михрюткой и увязавшимся пьяненьким отчимом.

Перед выходом на центральную площадь помахал рукой жене с сынишкой, ловко поднырнул под цепочку солдат и пружинистым шагом зашагал к трибуне, с которой приветствовали демонстрантов отцы города.

– Пропуск? – дорогу ему перегородил стоящий впереди оцепления майор милиции.

– По персональному приглашению председателя горисполкома Бадайчева, – с небрежным достоинством сообщил Никитин. Показал паспорт. Сделал движение протиснуться мимо.

– Минутку! – майор выставил шлагбаумом руку. Но уверенное поведение незнакомца несколько его смутило. – Все равно должен быть либо в списках, либо кому-то передано. В списках, сколько помню, такой фамилии нет.

– Наверняка передано, – согласился Никитин. Обернувшись, лучезарно помахал встревоженным жене и сынишке, которых поток демонстрантов вдавил в солдатскую цепочку. Нинка, выдерживая толчки, своим широким задом с трудом укрывала Митхрютку.

– Сходи, уточни, – предложил Эдик майору.

– Если кому надо, спустятся, – заупрямился тот.

– Может, спустится, может, нет. Может, передал, может, не успел, – в своей насмешливой манере прокомментировал Никитин. – Только я ведь дожидаться не стану. Развернусь да уйду. А тебе после объясняться придётся, почему персонального гостя не пропустил.

– Не пропустил, потому что без пропуска, – ответил майор, но без прежнего апломба. Уж больно самоуверенным выглядел незнакомец.

– Ладно, – решил он. – Жди. Попробую подняться.

Со своего места Эдик хорошо видел Бадайчева. Тот о чем-то оживленно переговаривался с секретарём горкома и неизвестным круглолицым мужчиной в очках и шапке пирожком.

Видел, как Бадайчев, отвлечённый кем-то, отклонился назад. Лицо его сначала сделалось удивленным, затем перекопилось. Что-то резко бросил, явно стараясь, чтоб не расслышали соседи по трибуне.

Праздничное настроение у Никитина рухнуло. Он умел понимать без слов.

Через минуту-другую спустился майор. Побагровевший, с поджатыми губами.

– Значит, так, – отчеканил он. – Велено передать, что шабашникам на трибуне не место.

– Паскудина, – процедил Никитин.

– Ну-ну, не больно. А то, если что, вмиг оформлю, – пригрозил майор. Пригрозил, впрочем, без души. Видно, команды «разобраться» не поступило. – В общем, начальство из области понаехало. Потом из Москвы какой-то замминистра. Так что никак нельзя. Но взамен за твою работу аж тройной коэффициент применён. Сказал, сможете залиться.

– Я и говорю, паскуда! – повторил Никитин. Сложил руки рупором.

– Бадайчев! Ты – дешёвка! – заорал он во всю силу лёгких. Но крик потонул в звуках марша и скандирования демонстрантов. Единственный расслышавший – майор – с перепугу ухватил Эдика за плечо. Забегал глазами в поисках подчинённых.

– Ладно, проехали! – Никитин стряхнул с плеча чужую руку.

– Передашь после от меня своему: что я ему не холуй, чтоб об меня ноги вытирать. А за подлянку положено отвечать.

Развернулся и зашагал к колонне.

– Ишь каков! – протянул вслед озадаченный майор. – Не, не понимает русский мужик, когда с ним по-доброму. Другой бы за такие деньжищи по гланды вылизал, а этот кочевряжится. Надо же, три коэффициента. Это ж сколько, если навскидку?

Глазки майора заблестели – принялся считать.

Эдик добрался до своих. Убрал глаза, чтоб не встретиться с сострадающим Нинкиным взглядом.

– Ступайте домой... Я после, – прохрипел он через силу. Не разбирая дороги, шагнул, дерзко рассекая праздничную колонну.

– Пожалуйста, догони! – перепуганная Нинка подтолкнула отчима следом.

На развилке влево от тротуара отпочковалась пыльная, сползавшая к волжскому берегу тропинка, упиравшаяся в знаменитый Никитинский терем. Но Никитин, будто не заметив ее, как шел размашисто, так и продолжал вышагивать в сторону центра.

Отчима давно уж насторожила эта нацеленная походка. Прибавив ходу, догнал, ухватил за рукав.

– Промахнулся, Эдичка. Дом-то слева остался, – душевно подсказал он.

По колючему выражению глаз, по сведённым скулам понял – не промахнулся. В конце улицы в лучах солнца сияло свежее, празднично украшенное здание с широченным транспарантом по фасаду: «Седьмого ноября 1985 года, к Дню Великой Октябрьской социалистической революции, состоится торжественное открытие Лекторского центра по пропаганде основ марксизма-ленинизма».

– Ты чего надумал-то, басурман? – Отчим, догадавшись, аж задохнулся. – Своей головы не жалко, так о Нинке с сыном подумай... Ну, погодь, давай обсудим... Тут как раз по полстакана осталось, – он побултыхал бутылку, что с утра таскал в кармане, прикинул на просвет. – Добьем, и всё сразу путём покажется. А хошь, и мою долю махни! Пойми! Жить нам здесь. А они власть. И мы для них кролики. Только вякни и...

– То-то и есть, что кролики, – процедил Эдик. – Сидите, шантрапа, по клеткам и ждете безропотно, чего еще над вами удумают.

Развернул отчима к тропинке, лёгким пинком под зад придал ускорение. Отошел на пять метров, остановился и, пугая прохожих, крикнул:

– А я не кролик! И никому себя держать за того не позволю!.. Э!.. Чего с вами?!

Резко повёл плечами, будто разрывая незримые цепи, и – зашагал навстречу кумачовому транспаранту.

– Чего-й-то он? – подтолкнула отчима подвернувшаяся соседка с кошелкой.

– А то, что баламут! – отчим печально покачал головой. – Правду, видать, мне говорили, что мать его по молодости с цыганом путалась. И чего Нинке скажу?

Озабоченно покачивая головой, он затрусил в сторону берега.

Из журнала учёта происшествий:

«Седьмого ноября 1985 года Никитин Эдуард Михайлович, 1949 года рождения, уроженец и житель гор. Ржева, образование незаконченное высшее, без определённых занятий, проник в здание Лекторского центра и из хулиганских побуждений, используя пожарный топор, разрушил трубы центрального отопления и иные коммуникации, сделав невозможным нормальное функционирование здания.

Своими действиями совершил злостное хулиганство с особой дерзостью, сопряженное с умышленным уничтожением государственного имущества, что повлекло причинение крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан».

Спустя два месяца Ржевским городским судом Эдуард Никитин был осужден к двум с половиной годам лишения свободы. Примерно столько же оставалось до издания «Закона о кооперации в СССР».

Но это уже будет обида номер три – перестроечная.

Засада

Из цикла «Журнал учета происшествий»

В июльскую субботу, вечером, на реке Тверце, близ деревни Протасово был убит архитектор из Москвы Султан Мирзоев. Его спутницу, дебелую блондинку тридцати пяти лет, доставили в районную больницу в состоянии нервного шока.

Из первого сбивчивого ее объяснения, полученного оперуполномоченным уголовного розыска Велиным, удалось установить, что накануне, в пятницу, они с Мирзоевым на его машине приехали на Тверцу, намереваясь провести вдвоем выходные. Выбрав поляну поукромней, разбили палатку. На другой день рыбачили, варили уху. Перед сном немного выпили. Ближе к ночи на поляну с разухабистой бранью вывалилось несколько подростков по шестнадцать – восемнадцать лет. Были они заметно пьяны и сразу повели себя агрессивно. При виде Мирзоева осклабились: «О! И сюда черные добрались!»

Один из них, долговязый, с выгоревшими, слежавшимися волосами крикнул: «Не все же азикам наших телок дрючить», – и принялся валить ее на землю. Мирзоев кинулся на помощь, но его сбили с ног. Сколько могла, сопротивлялась, даже кусалась. Но потом ударили чем-то по голове, и она потеряла сознание.

Очнулась совершенно растерзанная, на безлюдной поляне. Палатка валялась на земле, все разгромлено, стекла в машине выбиты, багажник взломан и перерыт. Чуть позже в кустах обнаружила труп Мирзоева. Ни особых примет, ни во что были одеты нападавшие, не запомнила. («О чем вы говорите? Какое там запомнить? Это же ужас! И главное, почти без слов... Зверье!»).

Собственно, нехитрая механика преступления выявилась достаточно полно уже через полчаса после начала осмотра места происшествия. Потерпевшего долго «месили» ногами – едва не все ребра оказались переломаны. Потом, видно, вконец озверев, принялись добывать палками. Одним из ударов проломили череп в районе виска. После этого тело оттащили в кусты и наспех забросали ветками, нарубленными для костра.

Как бывает при таких чрезвычайных обстоятельствах, на место происшествия понаехало областное начальство. Поэтому осмотр проводился с особой тщательностью. Пожилой эксперт-криминалист, с трудом согнув пухлое тело и втянув отвисающий животик, более часа урчал над следом обуви, оставленным на пересушенном, расползающемся даже от дыхания песке, и исхитрился-таки извлечь почти идеальный гипсовый слепок. Следователь прокуратуры буквально на карачках исползал поляну, выискивая всё новые и новые следы. Закончив осмотр, он оседлал трухлявый пенёк в тенечке и принялся выносить постановления о назначении экспертиз. Наконец облегченно потряс занемевшей правой рукой, кивнул на горку упакованных вещественных доказательств.

– От души насвинячили, – довольный результатом, он подмигнул начальнику угро Гордееву. – Теперь вы мне только человечков представьте. А уж костюмчик я им живенько примерю.

После чего уехал на вскрытие.

Костюмчик в самом деле вышел добротный: одних дакто-пленок с отпечатками пальцев рук изъяли полтора десятка. Осталось, по словам следователя, всего ничего: примерить это изобилие на подозреваемых. А как раз подозреваемых-то пока не было. И найти их – задача уголовного розыска.

Вот уж третий день райотдел милиции находится буквально на военном положении. Каждое утро начальник РОВД Сергей Иванович Бойков набирает номер председателя райисполкома и слышит выжидающее:

– Как там, Сергей Иванович?

– Пока, увы, – отвечает Сергей Иванович и слушает на том конце озабоченное сопение.

Вздохнув, он поднимает трубку прямой связи с начальником УВД, и оттуда немедленно раздается раздраженный голос генерала:

– Все копаешься, старик?.. Сдаешь позиции!

Может, поэтому, а может, потому, что третьи сутки без нормального сна для измученного почечными коликами пятидесятилетнего фронтовика многовато, только обычно выдержанный подполковник Бойков ходит взвинченный и с трудом удерживается от начальственных разносов. И каждые три часа дежурный по отделу передает в управление информацию, безликую и безотрадную: «Преступники пока не установлены».

На второй день дала знать о себе Москва. На имя начальника УВД пришла лаконичная директива: «О раскрытии в трехдневный срок доложить в Главное управление уголовного розыска МВД». После этого к розыску подключили оперативные службы города.

Теперь сыскари работали и по ночам. Спали тут же, на стульях в Ленинской комнате. Слегка отоспавшись, выпивали в дежурке стакан спитого чаю и вновь включались в пахоту.

Узенький отдельский коридорчик наполнился разномастными посетителями. Кто-то доверительно шушукался по углам с операми; другие с хмурыми обеспокоенными лицами часами дежурили у дверей кабинетов.

Старший оперуполномоченный ОУР Саша Федоров, подвижная громадина, остервенев от недосыпа, окончательно махнул рукой на соцзаконность. Просто запирался в кабинете с особо подозрительными личностями. Крики несчастных подталкивали к откровенности тех, кто ждал своей очереди.

К концу второго дня удалось раскрыть три «темные» прошлогодние кражи, разбой и наезд со смертельным исходом, на учет дополнительно поставили шесть выявленных случаев злостного хулиганства. Но дерзкое убийство позорным красным флажком продолжало красоваться на оперативной карте райотдела.

В эти дни сотрудники других служб, не задействованные в раскрытии убийства, старались не вылезать из района и лишь к вечеру, по одному, просачивались в служебные кабинеты. При встрече с осунувшимися сыскарями первыми здоровались и поспешно отводили глаза, будто чувствуя свою вину в бессилии уголовного розыска.

Казалось, даже воздух искрился от напряжения. Но во вторник с утра на лицах оперативников появились торжествующие улыбочки, и по отделу просквозил слух – вышли на след убийц. Дошла обнадеживающая новость и до лейтенанта Танкова.

В отделе Танков был новичком. Лишь две недели назад ему присвоили звание и направили в районный уголовный розыск. Но поскольку свободная штатная единица в угро освождалась лишь через два месяца, молодого лейтенанта использовали на подхвате. Поэтому, когда после обеда Танкова по селектору вызвали к начальнику райотдела, он едва не побежал – в надежде, что его помощь наконец понадобилась.

Кабинет, куда вошел, постучавшись, Танков, оказался забит людьми. Вдоль стен и у стола почти в полном составе разместилось отделение уголовного розыска. Рядом с Бойковым, сопя и сморкаясь, грузно восседал его заместитель Борис Иванович Сиренко.

– Это хорошо, что вы в штатском, – оглядев Танкова, отчего-то одобрил Сергей Иванович. – Присаживайтесь.

Танков прямо у двери опустился на краешек стула, прижавшись к потеснившемуся начальнику уголовного розыска Гордееву.

– Значит, прошу быть внимательными, – произнес Бойков обычным будничным тоном, каким всегда говорил на планерках. Но именно в этом акцентированном спокойствии, ненормальном в обстановке бешеного ритма, в каком жил сейчас райотдел, проступало то же

напряжение, что исходило от всех остальных. Сидели отрешенные, без обычных подколов, шуточек и перемигиваний.

– Только что звонил Федоров, – объявил Бойков. – В техникуме взять не удалось. Группа захвата разминулась с ними на двадцать пять минут. Куда ушли, неизвестно. Скорее всего, разошлись по домам. Адреса у меня на столе. Всего, – Бойков нацепил тяжелые роговые очки, оглядел список, – шесть адресов.

«Нашли, нашли всё-таки!» – запело внутри Танкова.

– К закоперщикам, Зубову и Рогову, направим по двое, – невозмутимо продолжил Сергей Иванович. – К остальным распределим сотрудников по одному со страховкой. Ответственный – Гордеев.

Он посмотрел на дежурного по отделу капитана милиции Василия Ивановича Кузнецова, известного своей словоохотливостью, сказал жестко, угрожающе:

– В управление без моего личного указания не передавать ни полслова. Никаких предварительных данных, никаких твоих обычных намеков. Проболтаешься – тут же выгоню на пенсию к чертовой матери!

– Так, Сергей Иванович, когда ж это я... Обидно слышать. Да я за отдел душой...

– Молчать! Задержать должны своими силами. Без варягов из области. Сами раскрыли, сами и возьмем.

– Только чтоб брать культурно, – крутнул лапой Сиренко. – Это дело серьезное. А то привыкли, понимаешь, с наскоку...

Он огладил раннюю лысину и интенсивно засопел, что делал всегда перед долгим выступлением. Но тут, по знаку Бойкова, поднялся низкорослый крепыш Гордеев, насмешливо глянул на косноязычного Сиренко и четко доложил, кто, куда и с кем идет, каким образом поддерживается связь, когда и через кого будут сниматься засады.

Пока он говорил, все присутствующие – и Танков среди прочих – испытали радостное волнение стрелков, когда они знают, что дичь уже в загоне, и неизвестно только, на какой именно номер она выйдет.

Бойков поднялся:

– С богом! До места засад доберетесь на дежурном УАЗе. Кто не влезет – в машины ГАИ. Вопросы есть?

– Оружие брать? – решил Танков.

Послышались смешки.

– Вопрос не праздный, – счел необходимым усерьезнить обстановку начальник райотдела. – Надеюсь, остальные помнят, что против несовершеннолетних оружие мы применять не должны.

Он улыбнулся впервые за эти дни:

– Хочу верить, что сотрудники уголовного розыска сумеют задержать нескольких пацанов без кровопролития.

По отдельскому коридорчику шли к машинам, громко смеясь и шутливо толкаясь, словно мушкетеры по Лувру. Оперуполномоченный Велин, расшалившись, пнул ногой дверь кабинета ГАИ и гаркнул:

– Что заперлись, как дорожная моль в сундуке?! А ну, заводи тарантасы! Угро на задержание едет.

И холеные надменные гаишники заулыбались навстречу.

– А ведь я с самого начала отстаивал эту версию. Если б сразу с этого боку сработали, давно б на них вышли. – Велин забежал вперед, искательно, сверху вниз, заглянул в лицо Гордееву. – Юра, помнишь, я предлагал начать с техникумов?

– А пошел ты, трепло, – снисходительно и даже нежно отвечал Гордеев.

Потрепанный отдельский уазик, просевший от оседлавших его молодых тел, вздохнул и, посапывая, как при одышке, полуразрушенной коробкой скоростей, припадая на правое переднее колесо с разбитым амортизатором, отправился в один из многочисленных дворов микрорайона Южный.

Поднявшись по щербатой подъездной лестнице на пятый этаж, Танков приостановился. Сердце его при мысли о предстоящей встрече с преступником заколотилось. Он перевел дыхание и, рассердившись на собственное волнение, с силой вдавил кнопку звонка.

Дверь приоткрыла распаренная женщина в застиранном сатиновом халате и платочке поверх волос. В руке она держала пропитанный маслом нож с прилипшим кусочком котлеты.

– Из милиции! – Танков сунул ей в лицо удостоверение и, грубо отодвинув, протиснулся в прихожую. – Где Вадим?

Прижатая дверью к стене, женщина опасливо смотрела на энергичного молодого человека с красной книжцей.

– Чего отмалчиваетесь? – Танков добавил напору.

– Да его вроде нет дома...

– Что значит вроде? Кто знать должен? – при свете тусклой лампочки Танков наконец разглядел свежее девичье лицо и растерялся: быть матерью пятнадцатилетнего оболтуса она никак не могла. – Слушайте, а кто вы такая?

– Вообще-то соседка, – девушка хмыкнула. – Меня, на всякий случай, Валя зовут. А Катерина Петровна скоро придет со смены. Это мать Вадика. Только в продмаг зайдет и – домой.

Танков туповато затоптался. Он как-то упустил из виду, что существует такой атавизм, как коммунальные квартиры, и к встрече с соседями оказался совершенно не готов.

– Мне бы дожждаться, – растерянно промямлил он. – Может, в коридоре посижу?

– А чего в коридоре? – Увидев его замешательство, Валя успокоилась и сразу приняла покровительственный тон. – Вы к нам пока проходите. У нас и подождете.

Не получивший инструкций на этот счет Танков замялся.

– Да проходите смело, – более не церемонясь, она подтолкнула его к ближней комнате. – Когда входная дверь открывается, у нас сразу слышно.

В большой комнате за полированным столом, с угла накрытым скатертью, крепкий пятидесятилетний мужчина в майке увлеченно обглаживал куриную ножку. Он поднял обмазанный жиром подбородок и, скользнув взглядом по Танкову, недоуменно посмотрел на Валью.

– Па, к нам из милиции, – скорбно сообщила та.

– Вот как? – Мужчина начал заторможенно подниматься, вытирая рот и подбородок снятой с колен салфеткой.

– Да прикололась я, пап. Он к Синельниковым пришел, – Валентина заливисто расхохоталась.

Отец отер вспотевший лоб, укоризненно покачал головой – Ты меня своими шуточками когда-нибудь до инфаркта доведешь.

Валентина фыркнула. Танков с удивлением вглядывался в непонятную сцену между отцом и дочерью.

– Мне Вадима надо дожждаться, – напомнил он о себе. – А в коридоре, как погляжу, присесть негде... Табуретку выделите?

– Зачем табуретку? Располагайся, – мужчина поднялся, потянул со стула рубаху. – Я все равно на работу убегаю. А здесь телевизор, чаёк. Есть и покрепче, но тебе, наверное, нельзя?

Обращение его с Танковым, как только узнал, что тот пришел к Синельниковым, стало своим. Он натянул поверх рубахи джемпер, шагнул к двери. Спohватившись, принялся беспомощно охлопывать карманы рубахи.

– Держи, Маша-растеряша, – Валя достала с серванта пачку документов. Придирчиво оглядела отца.

– И как выгляжу? – заискивающе поинтересовался тот.

– Вполне. Для старух лет тридцати – сорока сойдешь.

– Вот послал бог дочку, – отец, отчего-то растроганный, подмигнул Танкову. – В институте учиться. Два языка. Но – оторва, каких мало.

Он погрозил дочери пальцем:

– Гляди, не обижай парня.

В ответ Валя постучала по часикам на руке. Спohватившись, отец пожал на ходу руку Танкову и выскочил из квартиры. Слышно было, как сбегает он по лестнице.

Валя принялась сноровисто собирать грязную посуду.

– А ведь это отец тебя испугался, – засмеялась она. – Он у меня водитель автобуса. По ночам прогревальщиком в автопарке подрабатывает. И повадилась к ним какая-то мразь по автобусам шарить. Стали следить. Неделю назад накрыли двоих с Зарельсовой. Надо было в милицию сдать. Но шоферы – народ горячий. У них своё правосудие. Выпустили едва живыми. Теперь вот дрожат.

– Не боишься чужому-то такое? – Танков удивился. – Я вроде тоже из милиции.

– Не боюсь, – Валя стащила косынку, под которой оказались короткие пшеничные волосы, придвинула гостю розетку с вареньем. – Давно выяснила: никуда эти обормоты не обращались. Дома бодягой залечились. Это я так, для педагогики стражаю. Кроме меня, кто присмотрит? Женить бы его, тем более комнат две, разместились бы. Да всё отлынивает. Сначала пел: пока, мол, школу не кончишь. Теперь – «пока институт»...

Она заметила, что гость принялся исподтишка шарить взглядом по стенам в поисках фотографий.

– Вдвоем мы. Давно, – сухо пояснила Валя. – И вообще – пей чай. – Она подхватила грязную посуду и вышла. А когда вернулась, Танков задохнулся.

За несколько минут она успела сменить халатик на облегающий сарафанчик, под которым сразу стала заметна легкая изящная фигурка.

Подсела к Танкову.

– Так что Вадька натворил?

– Почему натворил? – растерялся Танков.

– Для чего-то ты сюда пришел... Да заедай вареньем. Сама, между прочим, варила.

Танков вежливо выудил из розетки вишенку, долго обсасывал, соображая, как держаться дальше. Полномочий на ведение откровенных разговоров он не получал. – Вадька ведь на самом деле нормальный пацанчик, – произнесла Валя тоном умудренной женщины. – Учится, матери помогает. Даже втайне подрабатывает: вагоны на товарной станции разгружает.

– Почему в тайне?

– В этом-то и штука, – Валя недоуменно наморщила носик. – Я сначала, как он проговорился, думала, на новый видик собирает. Целыми днями о нем трендит. А он матери на Восьмое марта вазу хрустальную принес. С цветами. Поступок? – Она вздохнула растроганно.

– Поступок, – согласился Танков. Он был готов со всем соглашаться, лишь бы не сходила с ее личика лёгкая блуждающая улыбка.

Настенные часы хрипло вздохнули и принялись отстукивать половину восьмого. Танков спохватился. Он сидел за столом в чужом доме, распивал чай с вареньем, млея при виде обворожительной хозяйки. И – ничего не происходило. Странная получалась первая в его жизни засада, невсамделишная. Валя, перехватившая взгляд гостя, брошенный на часы, в свою очередь встревожилась.

– Слушай, дело-то к ночи. И впрямь серьезное что?

– Да, серьезное, – врать ей Танкову не хотелось. Пытаясь избежать дальнейших распросов, он принялся усиленно дуть на остывший чай.

Но Валя оказалась не из тех, кто легко отступает.

– Излупили кого? – она пытливно взгляделась в Танкова.

– Почему так решила?

– А что еще у пацанов бывает?.. Так как?

– Избили, – скупно подтвердил Танков. – Арест ему грозит.

– Вот гаденыш. – Валя присвистнула озадаченно. – Знаешь что? Ты б матери его не говорил. Она ж одиночка. Одна сына поднимала. Все в него вложила. Поздний ребенок. Понимаешь? Сердце у нее больное, «Скорую» чуть не каждый месяц вызываем. Если и впрямь...

Танков упрямо дул на чай.

– Давай так сделаем. – Она придвинулась вплотную, так что Танков с волнением ощутил прикосновение женской ноги. – Ты сейчас уходи. А завтра с утра мы с отцом его, куда скажешь, приволокем. Как мать на работу уйдет, за шкурку возьмем и притащим. Слово! А потом как-нибудь Катерину Петровну подготовим. Хочешь, вместе?

– Не могу! – отчаянно выкрикнул Танков. – Приказ у меня. Обязан дожидаться. Если мешаю, могу выйти.

– Вот и выйди! – вспылила Валентина. – Не может он... А пожилого человека угробить – это ты можешь?!

Во входной двери провернулся ключ. Танков поспешно выскочил в коридор и встал за косяк, чтоб его нельзя было увидеть прежде, чем зайдешь в квартиру.

– Вот наказание эти запоры, – запричитал на лестничной клетке женский голос, и вошла мать разыскиваемого Синельникова Катерина Петровна, некрупная сорокапятилетняя женщина с узким подвядшим лицом.

– Валечка! Я вам селедку купила, – с порога оживленно заговорила она. – Недешевая, правда. Зато жирненькая.

Она захлопнула за собой дверь и запнулась – прямо перед ней стоял незнакомый парень.

– Я к вам, – объявил он.

С привычной боязливостью Катерина Петровна всматривалась в незнакомое лицо. Потом вопросительно посмотрела на вышедшую соседку. Валя, отведя глаза, вынула из ее руки набитый пакет и ушла на кухню.

– В хоромы-то пригласите? – с фальшивой развязностью произнес Танков.

– Да уж какие хоромы. – Катерина Петровна прошла по длинному коридору до угловой комнаты, потянула оказавшуюся незапертой дверь и, отступив, пропустила вперед незваного гостя.

Танков вошел в комнату, где жили вдвоем мать с сыном. Небогатую, прямо скажем, комнату. Шкаф с потрескавшейся полировкой; две одинаковые пунцовые софы ржевского производства, на одной из которых валялась брошенная в спешке рубаха; телевизор «Сигнал» с нахлобученной сверху магнитолой и стол с наваленными в беспорядке радиодеталями. На подоконнике из-за стираной тюлевой занавески выглядывала объемистая хрустальная ваза с вставленными искусственными розами – должно быть, та самая, о которой говорила Валя.

– Сын это... на учебу торопился, – по-своему оценила взгляд гостя Катерина Петровна, сдернула рубаху и, чуть приоткрыв скрипучую дверь шкафа, не глядя сунула ее в объемистое нутро. – Он ведь позднее меня уходит. Я-то с семи на смену, а ему к девяти. Ну, малой еще.

Иной раз проспит. Вот в спешке и бросил. А вообще-то он у меня аккуратный, обстоятельный... Вы, должно быть, из техникума. Он предупреждал, что могут зайти...

– Я не из техникума, Катерина Петровна. – Танков почему-то заговорил торжественно и оттого, как сам с неприязнью услышал, лелейно. – Я из милиции.

Откинув назад руку, хозяйка направила спинку стула и, осторожно оседая, опустилась на сиденье. Покрасневшее лицо с мелкими морщинками приобрело тоскливое выражение.

– Нашли-таки, – качая головой, будто про себя, пробормотала она. – Говорила я ему, не ездил в этот поход дурацкий. Ну, чего тебя к этим... тянет? Ну, чего?! Скажите, чего ему среди них надо? Медом, что ли, намазано?! – Лицо ее некрасиво исказилось, готовое зайти в плач. Но, видно, вспомнив о соседях, она лишь всхлипнула.

Мучившийся от необходимости врать, Танков оторопел.

– Значит, сын вам всё рассказал?!

– Еще б он не рассказал, милый ты человек! Еще б он матери не сказал. Такого у нас не водится. Я его, дурака, как узнала, сама тряпкой отходила.

– Тряпкой – это, конечно, круто, – неприязненно процедил Танков.

– Слышь, – Катерина Петровна дотянулась до его рукава. Искательно потеревшая. – Вы скажите, чего нам за это, штраф будет?

– Какой штраф? Почему штраф?!

– Да вы не нервничайте. Чего вы нервничаете? Ведь не дура совсем. Понимаю: отвечать придется.

Танков начал осознавать, в какое отчаянное положение он угодил.

– Так что рассказал вам сын?

– Как было, так и рассказал. Чего-чего, а врать матери не обучен, – с обидой, из-под которой проступала гордость, сообщила Катерина Петровна. – В поход они, я ж говорю, ходили. В воскресенье приехал, лица на нем нет, рубаха порвана и в крови. Модная такая... Джинсовка.

– Что он рассказал?

– Известно что. Девочек не поделили. С Кешкой Зубовым, дружок его, куда-то в деревню на танцы пошли, ну и подрались с деревенскими. Наверняка Кешка затеял. Потому что мутный! Вечно чего-нибудь нафордыбачит. А мой дурачок в рот ему смотрит. Хотела его с девочкой познакомить. У подружки дочка, умница. Так осрамил при соседях: ты, говорит, мать, дремучая. Надо будет, сам найду. А кого найдет? Этих, что ли? – Она отчего-то ткнула в сторону шумящего под окнами проспекта.

– Где вещи? – Танков придал взгляду выражение проницательности.

– Какие?... А, так застирала. Брюки еще поносятся, да и рубаху подлатала незаметно. А кровь в холодной воде отошла... Да нет, вы мне правду скажите: большой штраф-то за эту драку положен?

Растерявшийся Танков неопределенно мотнул головой. Кивок этот Катерина Петровна восприняла как подтверждение:

– Ведь это ж никаких денег не напасешься. Только-только на телевизор насобирали. Костюм ему хотела к выпускному. И здрасте, опять! Мать последние жилы рвет, а он, стержовина. Я не тряпкой, я палкой его отхожу!.. А ведь какой способный! – без малейшего перехода умилилась она. – У кого во дворе мотоцикл, машина сломается, к нему идут. И ведь денег не берет. Неудобно у своих. В радиоклуб ходит. После восьмого класса работать засобирается, а я вот приказала: «Учись! Пока техникум не кончишь, никуда».

Катерина Петровна прервалась, обдумывая засевшую мысль:

– Хоть бы уж поменьше штраф. А то у вас еще приводы есть, – щегольнула она невесть где добытым знанием. – Может, можно вместо штрафа привод, если не очень страшно. – Она просительно дотронулась до Танкова.

- Можно и привод, – окончательно заврался тот.
- Вот я и говорю. – Катерина Петровна хитренько оживилась.
- Ты б похлопотал. Тебя ж, наверное, начальство послушает. И то сказать, что за парень, если сдачи дать не может? Он ведь и сам знаете как переживает... Мне вот не говорит, а во сне стонет. Совестьливый!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.